

К С (493)
И 26
8268-к.



ВАСЬЛЕЙ ИГНАТЬЕВ

БЕСПОКОЙНЫЕ

Национальная библиотека ЧР



k-008268

Контрольный листок
сроков возврата
книжки должна быть
возвращена не позже
указанного здесь срока

Колич. пред. выдач _____

Вос. _____

8268-к

✓
К С(ЧУБ)
и 26
Васьлей ИГНАТЬЕВ

БЕСПОКОЙНЫЕ

РАССКАЗЫ

Перевод с чувашского Я. Мустафина

ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЧЕБОКСАРЫ — 1976

СЕРИЯ 097
010

Обязат. энз.

Игнатьев В. Г.

Беспокойные. Рассказы. На русском языке.
Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 1976.

Имя Васyleя Игнатьева широко известно среди чувашских читателей, русским же его творчество представляется впервые. Герои книги — наши современники, которым присущи принципиальность, честность, умение отстаивать свои взгляды. Много размышляет автор о проблемах нравственной чистоты.

С(Чув.)2

И 0733—120 84—76
М 136(03) 76

8268 - кр

Чувашская республиканская
библиотека
им. М. Горького

© Чувашское книжное издательство, 1976 г.

ПРОВЕРЕНО

2010

РУЖЬЕ, НАЙДЕННОЕ В ИЛЕ

Ги-гак, ги-гак,
Курлы-курлы... Дикие гуси
Прилетают весною, улетают осенью...

Из народной песни.

Вот уже неделю отдыхает художник Семен Петрович Кураков в деревне у сестры. Приехал он сюда, чтобы спрятаться подальше от городского шума и суеты. За текучкой дел, заседаниями в последние годы Семен Кураков даже перестал писать картины, да к тому же и вдохновение пропало. Раньше всех застой в творчестве молодого художника заметил старейшина чувашских живописцев Крымов Лука Сидорович.

— Поезжайте-ка, батенька мой, в деревню,— сказал однажды старик Семену.— Нам, художникам, никак нельзя отрываться от кормилицы-земли...

И вот Кураков здесь, в родных краях, где прошло его детство.

...С первыми лучами солнца он вышел в огород, спустился на берег когда-то полноводной Булы и заметил, что за десять лет здесь многое изменилось. Там, где некогда буйно рос ивняк, теперь нет ни кустика и земля покрыта илистым песком. На зеленом отлогом берегу, одетом ранее в сочный молочный осот, кто-то посадил капусту. В те годы в его зарослях детвора играла в прятки, в поисках малышей родители в первую очередь спускались через огороды именно сюда, в ивняк на берегу красивой Булы. Лет двадцать пять назад Семен Кураков тоже с утра до позднего вечера играл здесь в прятки и в войну...

Художник вздохнул и решил закурить, но не найдя в кармане папирос, чертыхнулся, вспомнив, что оставил их на столе. И тут он невольно вспомнил последний

разговор с Крымовым перед отъездом в деревню. Ученик и учитель говорили о художнике Леонарде Никонове, который в свое время был довольно популярным художником. Но Крымов уже несколько лет считает его талант пропавшим, засиделся художник на одной теме. Товарищи иногда, шутя, между собой называют Никонова «да Винчи». «Да перестаньте вы его так называть,— говорит тогда Крымов, улыбаясь.— Тот Леонардо молодеет «старее», а наш Леонард, точнее творчество Леонарда нашего, уже устарело до его смерти».

Семен Кураков улыбнулся своим воспоминаниям и вдруг подумал, с чего это ему вдруг вспомнились Леонардо да Винчи и их Леонард Никонов? И тут он понял, почему: он видел перед собой опустошенные берега обмелевшей Булы. За какие-то двадцать лет природа его родного края оскудела, стала чахлой и стоит на пороге полного вымирания. И все потому, что человек безжалостно и грубо вторгается в ее жизнь, нарушает законы...

Было время, когда ивняк рос по всему берегу Булы и еще больше подчеркивал красоту речки. Целыми связками таскали иву в те годы Семен и его друзья для плетения корзин, и казалось, что ей не будет конца. Была ива желтая и белая. Перемежая их с красными прутьями вербы, плели изящные корзины. А седобородый, хмурый на вид дядя Макар учил мальчишек уму-разуму. Он показывал, какие у ив можно срезать ветки и как. Оказывается, иву нельзя срезать прямо с комля, иначе она погибнет. «Запомните,— говорил он,— через пять-шесть лет здесь не останется ни одного кустика, если будете резать без разбора, как попадая. Видите, вон, за вами Мишутка, Дарья подрастают, ежели и они будут так, то что ж тогда и будет?..»

Художник хотел присесть на какую-нибудь лужайку, но таковой не было. Кругом валялись консервные железные банки, битое стекло, мусор... Тогда он прошел до огорода Хумкка Педера, где, как он помнил, всегда была густая трава. Но и тут всюду лежал мусор. Когда-то за огородом Хумкка Педера росли три старые ветлы, печально склонявшие свои серебристые пряди над водой. Тут обычно любили петь девушки. Но и ветел тоже не было. Или их срубили, или их корни подмыла вода, и они свалились. Ничего этого Семен не знал. Он только видел, что от ветел не осталось и следа, точно они никогда тут и не росли...

В сторону деревни Атыково когда-то простирались задние луга, а в сторону Именева — передние луга. Так странно народ называл эти места. А сейчас и там и тут на их месте протянулись новые деревенские улицы, выросли дома. «Народ прибавляется, а деревьев, лугов все меньше и меньше становится. Хиреет природа», — грустно думал Семен. И вдруг такое его взяло зло на своих земляков, на местное начальство, председателя колхоза, директора школы, что попадись они сейчас ему, не знаю, что бы он сделал с ними!..

Деревьев осталось мало не только за околицей, но и в самой деревне. «Если у председателя колхоза нет времени думать о зеленом богатстве или руки не доходят, то почему директору школы не организовать учащихся на посадку деревьев? Каждый год сажали бы понемногу, и то бы уже рощи шелестели! — думал художник. — Разве бы школьники не вышли на эту работу? Да для них это одно удовольствие! Вон у верхних чувашей как развернута лесопосадка! Там в деревнях прямо за огородами зеленеют деревья. Настоящие леса развели», — рассуждал про себя Семен Кураков.

Он снова пошарил курево в кармане и снова досадливо махнул рукой. Выбрав сухой бугорок, уселся. Внизу лениво катила свои воды обмелевшая Була. Воды стало так мало, что берег высоко навис над рекой. В детстве Семен ходил сюда на рыбалку. Именно здесь — он хорошо помнит это место — ставил свои мережи, через два-три дня вытаскивал их и уносил домой целое ведро пескарей, гольцов, угрей, окуней, налимов... А сейчас здесь, как говорят, воробью по колено. Однако кто-то оставил тут деревянное корыто: выходит, местами речка еще довольно глубока, раз можно стирать и полоскать белье.

Интересно, где и в какие игры играют сегодня кокшановские дети? Когда-то вон там, за нашим огородом, сплошным покрывалом зеленели заросли мать-и-мачехи высотой почти в рост человека. Чтобы играть в лошадки, мальчишки делали из стеблей мать-и-мачехи кнуты. Бывало, день-другой пролежит сорванный беловато-серебристый стебель в сарае — и готов тебе кнут, гибкий, неломкий. «Теперь, наверно, играют не только в «Чапаева», но еще и в «Николаева», — думал Семен.

На душе у него было грустно. Он вернулся в детство, а его не было, остались только одни воспоминания...

Кураков сидел спиной к солнцу, и теплые лучи его приятно грели тело. «Только солнце осталось прежним», — с горечью подумал он. Сколько бы просидел Семен без движения, не известно, но тут он услышал за спиной чей-то кашель. Обернулся и увидел старого Суесь Ярхуна. Кураков сразу узнал его. Несмотря на лето, старик был в подшитых валенках. В его руке была убитая ворона. Ярхун, видно, тоже узнал Семена. Он почтительно поздоровался, улыбаясь, шмыгнул носом и бросил ворону на землю. Все так же продолжая пристально разглядывать знатного сельчанина, старик вытащил из кармана мятую пачку папирос, замусоленную спичечную коробку. Наконец сказал:

— Это ты, Семен Лазаревич?

— Конечно, кто ж еще...

— Давненько ты не был у нас, давненько. Я уж боялся: думаю, умру и не увижу тебя, — лукавил старик. — А вон, пришлось свидеться. О, какой ты важный стал! Оно и понятно — помню, мальцом ты еще любил со мной о больших делах говорить...

Семен слушал старика, не перебивая, в душе посмеиваясь над его бесхитростным и безвредным враньем.

На берегу Булы они просидели, примерно, с полчаса. Семен узнал от Суесь Ярхуна, что в Буле исчезли лягушки. Вначале Семен не поверил этому, подумал, что старик по привычке придумал с ходу. Однако на этот раз он не шутил, а говорил правду. Лягушки, оказывается, пропали потому, что Арабузинский крахмальный завод многие годы спускал в реку производственные отходы.

— Да, дела, — сказал Семен и попросил у Ярхуна закурить. — Ну, а с рыбой как?

— И сами диву даемся, земляк. Рыб чудом не коснулась эта отравка, — хитро улыбаясь, ответил старик. — Недавно я видел, как тут ребята ходили с ситом. Пескарей вроде бы наловили на полсковороды.

Суесь Ярхун хоть и постарел солидно — ссутулился, ходить стал не так прытко, ногами шаркает, в жару валенок не снимает, — однако по-прежнему не перестал врать, все что-нибудь да сочинит. И сейчас он как бы спохватился, что не успел еще Семену ничего сообщить из выдуманного им. Старик взглянул на ворону, и в его косящихся глазах мелькнули озорные блики.

— Чертова ворона, — сказал он, беря птицу за крылья, — повадилась, понимаешь, красть яйца. Одна наша

курица несет яйца на повети, на стороне соседей. Так больше месяца таскала эта негодница яйца!— тряхнул тушку птицы старик для большей убедительности.— Ну, усмотрел я ее и думаю: не зря она садится каждое утро на повети... Начал я следить за ней. Прилетит ровно в девять, хоть часы сверяй по ней, и караулит, когда курица снесет яйцо. Курица из гнезда,— а она цап его и деру. Ишь, как разжирела на свеженьких яйцах!— сказал Ярхун, щупая ворону ревматическими пальцами.

— А как же ты поймал ее, дед Ярхун?— спросил Семен, не скрывая иронии.

— Как? Просто,— не задумываясь, продолжал врать старик.— Зарылся в солому близ гнезда и стал ждать ее прилета. Всю руку исцарапала, чертова птица, пока я ее за шею ухватил.— И Суесь Ярхун как бы ненароком поглядел на левую руку. Но Семен не заметил на его руке никаких царапин...

— Не забывай нас, наведывайся,— сказал на прощание старик Семену. Потом победоносно посмотрел на ворону, отбросил ее в заросли крапивы и, шаркая валенками по земле, пошел в деревню.

Дома Семен поведал сестре о встрече с Ярхуном. Та, смеясь, рассказала, что ворону эту позавчера подстрелил Санюк, сын соседа Трахвина, когда она бросилась на дыблять.

— Ему бы только врать! Он и сам ведь признается: не усну, говорит, если за день не сойду хотя бы три раза,— серьезно сказала женщина.— Такой уж он у нас.

...На следующий день Семен Кураков до полудня просидел дома: просматривал старые фотографии, читал письма, которые писал родителям будучи студентом, убирался во дворе. Пообедав, решил пойти в сосновый бор за Булой. Он не взял ни этюдника, ни бумаги с карандашом — чувство неудовлетворенности и огорчения все еще не проходило. Сколько дней уже звучит в его ушах голос старого художника Крымова: «В последние годы я не вижу никакого роста в творчестве художника Куракова. Если и дальше пойдет так, то его талант может совсем засохнуть».

«Засохнуть, как эта Була? Пропасть, как ивняк, который когда-то буйно рос здесь? — бормотал Семен, снимая полуботинки, чтобы перейти вброд через речку.— Но ведь ивняк пропал не сам собой, его уничтожил человек. Кто же уничтожит меня?.. Были тысячи ив. И тысячи

срезали-срубили. После этого выросли другие ивы, но и их снова срубили или вытоптали животные... А кто срубил мой талант? Нет, человеческий разум, его талант и энергия — это совершенно другие понятия! Скажем, у поэта было тысяча вдохновений и возможностей, чтобы написать тысячу стихов. После написания этих стихов у него появилось новое вдохновение, и он создал новые стихи. И так до самой смерти. А разве у художника после десяти, двадцати картин не может появиться вдохновенье? Неужели живописец не в силах увидеть в жизни источник вдохновенья?!» — рассуждал Семен, вспомнив слова старого художника.

В воду он вошел осторожно. Не привыкший ходить босиком, боялся порезать ногу или удариться обо что-нибудь твердое. Однако все обошлось — речку он перешел благополучно. Надевая полуботинки, художник увидел на песке следы, чем-то похожие на ступни медведя. И тут он невольно вспомнил случай из детства...

Давным-давно это было, а Семен, как сейчас, помнит все. Отец Семена — Лазарь теде* — был заядлым охотником. Как многие чуваша, он еще держал небольшую пасеку, в семи верстах от деревни Сундырь, в большом липовом лесу. Тут же стояли улья его замужних сестер. И вот однажды к ним в деревню примчался сын сестры — Коля. Задыхаясь, он рассказал, что в прошлую ночь медведь разбил на пасеке два улья. Отец Семена тут же собрался в лес, взял с собой и сына — будущего художника.

Еще засветло отец Семена и муж сестры обследовали вокруг пасеки все следы. Семен тоже ходил со взрослыми и считал себя охотником. Пасека расположена на маленькой поляне, окруженной молодой рощей из смешанного леса. Буйная, еще не скошенная трава пестрела разноцветьем. Тут росли белыми зонтиками и снить, и борщовник. Пока взрослые изучали следы косолапого, Семен нарвал много щавеля — не только для себя, но еще и для сестренки, оставшейся дома.

Следы ночного вора привели охотников сначала к северной стороне пасеки, потом — к пологому откосу и дальше, через орешник, к звонко журчащему маленькому ручейку. Мишка был хитрый — он путал следы. Но

* Дядя.

люди определили, что он поднимался именно по этому ручейку.

Разбитые ульи все еще валялись на земле, в воздухе носились озлобленные пчелы. Их гул был грозен. Пасечник не стал приводить в порядок ульи — не хотел испугнуть медведя.

Семена, как ни убегал он от пчел, они нажалили так, что глаза превратились в щелки, на лбу, шее появились шишки. И все равно мальчик не покинул пасеку: уж больно ему хотелось посмотреть на Мишку-воришку.

Возле пасеки стоял небольшой домик, где обычно качали мед и держали бочки, ведра, воду. Вот тут-то и засели охотники, благо отсюда хорошо просматривалась в небольшое оконце пасека.

В первую ночь Топтыгин так и не появился на пасеке. Охотники даже подумывали пойти искать его в лес. Но отец Семена авторитетно заявил:

— Он сыт, вот и дремлет где-то. Прийти сюда он обязательно должен.

На другую ночь пасечники снова устроили засаду, держа наготове ружья. А Семену отец наказал, чтобы тот сидел в домике и носа не высовывал на улицу. Но мальчишка не послушался и тайком последовал за охотниками. Конечно, он знал, что сидеть в домике безопасней, чем в засаде, да и комары не кусают, но желание увидеть, как хозяин леса станет ульи разбивать, перебороло страх и оказалось сильнее наказа отца. Взрослые увидели мальчика, когда он уже сидел в засаде за их спинами.

— Я те! — погрозил отец, однако в голосе не было строгости. А когда луна осветила его лицо, то Семену даже показалось, что отец улыбался и даже был горд за смелость сына.

В лесу долгое время было тихо. Лишь изредка слышались треск сучьев под чьими-то ногами да шуршанье мышей в траве. Круглая, как золотая сковорода, луна вначале висела прямо над головами охотников, ярко освещая поляну с ульями, потом медленно уползла в сторону, стала опускаться все ниже и ниже на лес... А медведя все еще не было. Появился он вдруг, неожиданно, с той стороны, откуда его совсем не ждали. Семен первым услышал, будто кто-то закричал сбоку. Мальчишка обернулся и увидел, как медведь ловко перелез через ограду. Волосы у мальчика встали дыбом, сердце оста-

новилося. Он хотел предупредить отца, думая, что тот не видит косолапого, но язык одеревенел. Охотник понял состояние сына. Он погладил его по голове и приставил палец к губам: мол, тихо, все будет в порядке.

А медведь, дойдя до улья, не стал долго раздумывать, схватил крышку передними лапами, будто руками, и бросил ее на землю. Потом поднял улей и понес его к ограде. Там он так трахнул его о столб, что по всему лесу прокатилось гулкое эхо. Оглянулся вокруг, как настоящий вор, и принялся с чмоканьем и урчаньем пожирать разбитые рамки с медом. И тут на него напали разъяренные пчелы. Они, видно, жалили его в самое уязвимое место — нос, потому что Топтыгин фыркал, отплевывался, бил себя лапой по морде, отмахивался и смешно катался по земле.

— Ну, потешился — и хватит, — прошептал охотник и прицелился. Прогремел парный выстрел, — видно, отец Семена и муж сестры выстрелили разом. Медведь на какой-то миг замер, потом грозно заревел и повалился.

После освежеванного медведя привезли в деревню, и отец Семена угощал всех медвежьим мясом...

Так было тогда. А сейчас об этом и думать смешно, что здесь в этой небольшой рощице есть медведи.

...Художник дошел до конца леса и увидел новые здания мастерских «Сельхозтехники», возвышающиеся как большой завод.

И снова заскребло на сердце. Вот он, художник, какой уже день у себя на родине видит колоссальные изменения, а уловить главного пока еще не может. Да, ему жалко природу, жалко пересохшую реку, жалко порубленный лес, но ведь взамен выросли отличные дома, ремонтно-технические станции, у его земляков расширились поля! Выходит, если человек будет разумно делать все, то он сумеет сохранить и природу и одновременно благоустроить свою жизнь... Все это верно, но как, как все это показать на полотне? Чтобы была правда жизни и ясно видна авторская позиция!

«Да, задал мне загадку наш старик! — размышлял Семен. — Говорит, изучай жизнь, иди в самую противоречивую сторону нашей прекрасной действительности, исследуй, и ты найдешь там источник вдохновенья! Найди, попробуй. Факты настолько противоречивы, что голова кругом идет и душа болит!»

...Перейдя через Кондратьевскую корчовку, Семен

вышел на просеку. Насколько он помнит, этих посадок при нем не было. Он залюбовался буйной порослью рощи. В эту пору листья липы, осины, дуба, клена были еще нежны и сочно зелены. Художник умилялся их красотой, оттенками красок, формой. И не заметил Семен, как на душе у него стало хорошо, легко, захотелось петь. Он услышал пока еще робкие голоса иволги, кукушки, дрозда...

Семен не заметил, как вышел на Арабузинскую поляну. Присел и закурил. Снова вспомнилось детство. Здесь он однажды чуть было не поймал журавля, когда пришел сюда за грибами и среди редких деревьев увидел стайку журавлей. Они были почти вровень с Семеном, а ноги у них походили на изогнутые длинные тонкие прутья. Семен поставил корзину с грибами на землю и в охотничьем азарте пополз между кустов на животе. Казалось, он полз вечность. Но когда Семен изготовился схватить птицу за ноги, она отскочила в сторону и взмахнула крыльями. Остальные бросились за ней. Стая поднялась в небо. Семен насчитал шесть птиц. Журавли летели красиво, плавно поднимая и опуская сильные крылья. И тогда мальчик обрадованно подумал: «А хорошо, что я его не поймал...»

Сейчас эта поляна была вспахана и засеяна викой и овсом. И опять Куракову стало жалко разнотравья тех лет, журавлей, отдохавших здесь. Он видел, что голый практицизм берет верх над рациональным использованием природы...

Семен вышел из леса, и перед его взором просторно раскинулось Юндабинское поле. Кураков помнил: если пройти напрямик еще километра три, то можно выйти к крутой Юндабинской горе, а за ней снова пойдет равнина. У подножия горы течет речка Юндаба, а вдоль речки то тут, то там разбросаны небольшие озерца, окаймленные желтыми цветками. Отец Семена любил ходить сюда на охоту, в те времена здесь вдоволь было уток. Нередко Лазарь брал на охоту и маленького Семена.

Кураков представил себе картины художника Кайманова, на которых автор обнаженно показывал вторжение индустрии в природу. Картины эти были яркие и всегда привлекали внимание зрителей. Машины, экскаваторы, рабочие, покоряющие природу,— вот главная тема в творчестве Кайманова. И самое странное было в том, что

чем жестче и суровее показывал художник покорение природы, тем больший имел успех. «У Кайманова своя тема, и он ее разрабатывает по-своему. Но я-то вижу эту же действительность иначе, значит, я должен по-своему изобразить ее, со своих позиций...» — думал Семен, шагая по прошлогодней стерне.

Пройдя поле, он углубился снова в молоденький, недавно посаженный лесок. «Как невестушки!» — подумал художник, глядя на стройные, гибкие, в ярком зеленом наряде деревья.

Однажды после охоты они с отцом забрались на вершину Юндабинской горы. Старший Кураков прилег и закурил. А он, Семен, свистя и крича, помчался вниз. Ему тогда казалось, что так он мог бы бежать до черты, где небо касается земли. Семен уже превратился в мальчишка с пальчик, даже отец испугался, потеряв его на миг среди высокой травы. Мальчишка не знал этого. Он просто казался себе сейчас необыкновенно сильным и ловким... Он сбивал прутom головки желтых цветков, пытался поймать пучеглазых стрекоз, игрушечными самолетами носившихся возле него.

...Вот он прошел сколько километров, а ни одного озерца не встретил. Кругом земля была разворочена экскаваторами, и коричневые траншеи зияли, как раны, — здесь сейчас добывали торф. Значит, теперь весной и осенью не слышно тут кряканья уток, охотничьих выстрелов; их заменил грохот моторов и машин.

«Интересно, а где теперь утки, гуси, кулики нашли себе пристанище? — внезапно подумал художник. — Ведь практически мы разорили их дома, разогнали семьи!»

Его грустные мысли неожиданно прервались, когда на его пути встретился небольшой лесок с молодыми насаждениями. Сосенки в рост человека стройными рядами гордо взирали на мир. Они точно говорили: «Здесь были бросовые земли, а теперь тут мы хозяева!» Кураков даже невольно улыбнулся, увидев этот молоденький лесок. Он припомнил, что места эти были прокляты народом. Тут даже сорная трава толком не росла. В деревне говорили, если, мол, корова или коза попасется здесь, то у нее обязательно молоко перегорит. Эта молва так властвовала в сознании людей, что пастухи за версту обходили «проклятое» место.

«А она вон какая, оказывается! Вон как взлелеяла молодые посадки! Вот что значит, когда человек с ду-

шой и разумно сотрудничает с природой!»— радостно думал Кураков.

И снова он почувствовал желание творить. Но еще не мог уловить главного в своей теме, не видел свежего сюжета, и мысли были расплывчаты. А между тем он возвращался домой в приподнятом состоянии. Семен напоминал сейчас охотника, долго шедшего по следу хитрого зверя и наконец-то приблизившегося к его логову...

Возле огорода сестры, где Була совсем близко подходила к деревне, Семен увидел трех белоголовых мальчишек лет восьми-десяти. Они азартно сигали в воду и подолгу находились там. Их белые головы издали были похожи на кочаны. Вдруг один вынырнул и, держа в руке какую-то палку, закричал.

— Нашел! Вот она! Я нашел!

Двое других бросились к нему.

— Покажи!

— Я нащупал ногой, да думал коряга...

Находка ребят заинтересовала художника.

— Ну-ка покажите, что там у вас?— приближаясь к ребятам, сказал Кураков и тут же подумал: «А не Илькины ли это дети? Он тоже был белоголовый, ушастый и зеленоглазый».— Так что вы там нашли?— переспросил Семен, любуясь озорными лицами ребят.

— Ружье!— гордо сказал младший, смахивая воду с лица.

— Да нет. Это — ружейный ствол,— поправил старший.— Вот лежал в иле и весь сгнил,— и он протянул художнику проржавевший ствол ружья.

Действительно, это был ружейный ствол. Шестнадцатикалибровый, двуствольный. В середине проржавел так, что его можно было легко поломать.

— Когда-то в нашей деревне были кулаки, говорят,— начал рассказывать старший из мальчиков.— Нам папа говорил: главного кулака звали Чубай. Он имел две ветрянки. И однажды Чубай убил из ружья председателя сельсовета, отца дяди Тимука. Может быть, из этого ружья?

Мальчик поднял голову и вопросительно уставился на незнакомца.

— В иле лежало?— спросил Семен.

— В иле... Я его случайно зацепил ногой. А как же оно не сгнило до сих пор? Ведь вон сколько лет прошло! А отца дяди Тимука убили как раз в то время.

— Нет,— сказал Семен твердо.— Это не Чубая ружье. Если бы это было его ружье, то оно не сохранилось бы так. Больно много годов прошло. Кроме того, ребята, тот Чубай стрелял в отца Тимука не из охотничьего ружья, а из обреза. Вот что, ребята, дайте-ка мне его. Я узнаю, чье это ружье и как оно попало сюда.

— Узнаете, чье это ружье? И как оно попало сюда?— навестили мальчишки уши.

— Об этом я расскажу не сейчас, а в другой раз. Согласны?

— Согласны...— дрожа от холода, ответили ребята.

— А вы кто? Откуда?— полюбопытствовал средний.

— Я живу в Чебоксарах, приехал вот к сестре. Знаете Анну Лазаревну?— ответил Семен.

— Знаем... Она учит нашего Ванюка,— показал старший на среднего парнишку. Тот застеснялся от такого внимания к его персоне и опустил голову.

— А вы, я вижу, дети Ильи Павловича, да?

— Ага,— за всех ответил младший, улыбаясь во весь рот.

Кураков попросил ребят выйти из воды и одеться.

— Зачем?— вобрав голову по самые уши в плечи, спросил младший.

— Чтобы вода не замерзла. А то она от вас льдом покроется. Ясно?— засмеялся Семен и направился к дому сестры. В руках он нес ствол отцовского ружья...

— Ясно!— услышал он вслед голоса ребят.

— А мне нет. Как может вода летом замерзнуть?— удивился младший.

— Он же пошутил!— отозвались старшие.

...А история, о которой обещал ребятам рассказать Семен, произошла, примерно, лет двадцать назад. Отец Семена вернулся тогда с охоты с тремя утками и... одним лебедем и был изрядно пьян. Он, оказывается, в честь успешной охоты по пути зашел в МТСовский буфет, что у соснового бора, и выпил там водки.

Посмотреть на лебедя пришли соседки, собрались ребята. Многие из них ни разу не видели так близко настоящего лебедя, поэтому трогали руками, с любопытством рассматривали краснолапую, небывалой красоты большую белую птицу. Отец Семена положил лебедя на длинную скамью перед амбаром, а сам стоял в сторонке и наблюдал. Для пущей солидности охотник не снял патронташ с пояса. Настроение у него было, видно, хоро-

шее, потому что он покручивал усы и курил папиросы. Так он делал всегда, когда бывала удачная охота.

Семен ежегодно видел, как весной и осенью над деревней пролетали косяки диких гусей и журавлей, но он до сих пор не видел лебедя, хотя и был сыном охотника. Поэтому мальчишка ходил гордо перед своими сверстниками: вот, мол, ничей отец еще лебедя не приносил, а мой подстрелил, да и еще выставил напоказ — нате, любуйтесь такой красотой! Охотник, понимая чувства сына, подошел к людям, собравшимся посмотреть на лебедя, и начал хвалиться:

— Мясо глухаря ел, тетерева и рябчика ел, утиное мясо жрал пудами, медведя брал, оленя брал, барсучье мясо пробовал и немало людей лечил барсучьим салом! А сейчас вот попробуем лебединого мяса! Эх, природа, природа, каких только благ не приносишь ты нам!..

В это время приплелся во двор седой, как лунь, дед Макар. Как всегда, одет он был опрятно: в выцветшей, но чистой черной сатиновой рубашке, в черных суконных шароварах, кожаных сапогах, туго подпоясан широким кожаным ремнем. Обычно старики подпоясываются ремнем свободно и чуть ниже пояса. А дед Макар же всегда был подтянут, строен и очень холил белую-белую бороду. Семен никогда не дотрагивался до его бороды, но был уверен, что она у него нисколько не жесткая, а мягкая, как льняная кудель...

— Где ты подстрелил его?— спросил дед Макар, довольно долго рассматривая лебедя.

— На окраине бора подстрелил, дед Макар. Низко пролетал, почти над головой,— похвастал охотник.

Дед Макар погладил бороду, что-то пробормотал про себя, свел в одну линию седые брови, поднял голову и тихо сказал:

— Так. Он один был?

— Один пролетал, дед Макар.

— Сразу скончался?

— Два-три раза трепыхнул крыльями и камнем на землю...

Дед Макар покачал головой, снова о чем-то задумался.

— Зря ты его...— сказал он, присев на старое бревно.— Я слышал, что если убьют одного лебедя, то другой взлетает высоко-высоко и камнем падает на землю. Есть люди, выдавшие такое. Лебеди у нас не очень-то

часто появляются, а вот по реке Белой их много. Все-таки не надо было тебе стрелять в него...

Спокойные слова старика заставили помрачнеть незадачливого охотника. Он призадумался, почесал затылок. Семен, хоть и был еще ребенок, но почувствовал, что отец начал сильно раскаиваться из-за того, что убил птицу. Он высморкался, замигал, виновато посмотрел на деда.

— Не удержался, дед Макар, руки сами потянулись к ружью, не успел и сообразить... Если бы он пролетал хоть чуточку выше, я бы, наверно, не выстрелил... Но уж летел слишком низко... Привычка погубила, дед Макар, привычка... Не успел сообразить, что делаю... Сейчас вот раскаиваюсь...

Семену после таких слов стало стыдно, и он ушел в огород. И тут он заметил, как из-за Булы невысоко летела в сторону деревни большая белая птица. У мальчика перехватило дыхание. Сначала он даже подумал, что это ожила подстреленная птица. От волнения Семен лишился дара речи. Но все же поборол страх и вихрем ворвался в ворота:

— Лебедь летит, лебедь летит! — закричал он испуганно.

Люди не сразу поняли мальчика. Одни замерли, другие непонимающе смотрели на мертвого лебедя. Тогда Семен еще раз крикнул: «Лебедь летит!» — и снова стремительно выбежал в огород.

И только тут люди заметили, что со стороны бора в сторону деревни низко летит большая белая птица. Она летела красиво, не спеша, плавно махая белоснежными крыльями. Люди молча наблюдали за величавой птицей. Но вот лебедь приблизился к берегу Булы, долетел до огородов и на какой-то миг завис над двором. Сделал плавный круг над людьми. Увидев на скамейке перед амбаром неподвижное тело друга, он вдруг повернул вправо и полетел над рекой на восток...

Кураков и сейчас помнит, как облегченно вздохнул народ. Только дед Макар упавшим голосом сказал:

— Эхо-хо, больше этих птиц у нас не будет.

Отец Семена стоял, опустив глаза, наморщив лоб. Лицо его было мучнисто-бледным.

Когда разошелся народ, охотник спустился в подпол и почти полчаса не вылезал оттуда. Потом выкарабкался оттуда совершенно пьяным. Только тут мать вспом-

нила, что в подполе стоит у них зарытая бочка с медовой. «Восемь лет назад поставлена эта бочка!»—любил хвалиться отец Семена, когда к ним приезжали гости, и щедро угощал их.

Так и не пришлось Семену попробовать лебединого мяса. Сказочную птицу, подстреленную у соснового бора, отец зарыл за огородом, а ружье, разломав пополам, бросил в Булу. В те годы возле Малых Арабузей Була была запружена и вода доходила до Кокшанова. Дети целую неделю ныряли в поисках ружья, брошенного пьяным охотником. Вода была высока, и ружье не нашли...

Семен до сих пор хорошо помнит, как отец, подвыпив, плакал — жалел убитого лебедя. Шагая по избе из угла в угол, он приговаривал: «Зачем я его тогда, зачем?»

...Еще два дня прожил Кураков у сестры. На душе у него по-прежнему было беспокойно. Он нервничал, переживал и постоянно слышал голос старого Крымова: «В последние годы я не вижу в творчестве Семена Куракова никакого роста... Надо выезжать, надо больше жить среди народа!..»

Чтобы как-то успокоить расшалившиеся нервы, Семен снова отправился в лес и там, недалеко от Кондратьевской корчевки, встретил странного человека — тот сидел на корточках перед муравейником и что-то делал.

Кураков, глядя на странного человека, копошившегося возле муравейника, вспомнил бабушку Крахьян из деревни Кокшаново, которая многие годы страдала ревматизмом ног и рук. Она довольно успешно лечила свою болезнь муравьиной кислотой. Для этого она оставляла пустые бутылки, смазанные изнутри медом, в муравьиных кучах. Дня через два Крахьян шла в лес и приносила оттуда полные бутылки муравьев. Своим снабдьем старушка щедро делилась со всей деревней. Крахьян давно уже нет в живых. «Может, кто из стариков продолжает ее дело?» — подумал художник, подходя к человеку.

— Здравствуйте, — начал разговор Семен, рассматривая человека и желая угадать, что же делает он возле муравейника.

— Здравствуйте, — не поднимая головы, ответил мужчина, продолжая свою работу — он ссыпал в коробки муравьев.

— Что вы делаете? — поинтересовался художник, наблюдая, как тот ловко отсортировывал шустрых муравьев по коробкам.

— Размножаю, видите? Отбираю матку и с ней несколько муравьев и разношу по лесу, — объяснил человек. — Я лесник и обязан заботиться о здоровье деревьев. А муравьи — лучшие охранники. Вот и приходится их разносить по лесу...

И лесник рассказал целую поэму о жизни полезных насекомых и о той роли человека, которую он должен сыграть в их сохранении и размножении. Только разумный подход людей к природе, глубокое изучение ее тайн позволит сохранить флору и фауну...

Художник отошел чуть в сторонку и стал пристальней разглядывать лесника. «Щупленький, в старой соломенной шляпе, сером пиджаке, сапогах... Глаза добрые... А пальцы как осторожно отбирают нужные экземпляры муравьев!.. — возбужденно думал Семен. — Какое у него одухотворенное лицо! Вот тебе сюжет и решение темы!» Кураков готов был заплясать от радости.

— Спасибо, товарищ, спасибо! — волнуясь, говорил Семен и почти бегом направился к деревне. «Вот какие люди будут защищать зеленого друга и размножать его! Эх, ты! Повесил голову, пессимизмом заразился. Правильно старик прогнал меня сюда, а то в кабинете можно заплесневеть», — думал художник, шагая в сторону деревни. Вдруг он повернул обратно. «Что же я заторопился? Ведь я пока что ничего не узнал...»

Вместе с лесником Семен Кураков наблюдал, как муравьи на новом месте осваивают территорию.

— А как сажают сосновые саженцы? Вручную? — показывая на молоденькие посадки, спросил художник, а сам продолжал изучать внешность лесника. Запоминал наиболее выразительные детали, жесты, выражение лица.

— Э-э-э, на больших площадях давно уже работают машины. Работы тут много. Вначале надо собрать семена, затем просушить их. После молодые саженцы выращивают в питомниках и уж только потом сажают машинами на площади, вспаханной годом раньше.

— Поглядеть бы, как сажают...

— Если хочется, можно. Идите в Синьялский лес. Шесть верст отсюда. Там еще не кончили посадку.

— Спасибо. Я схожу обязательно! — обрадовался ху-

дожник.— Это же так здорово — человек сажает не одно дерево, а целые леса!

Прощавшись во второй раз с лесником, Кураков пошел в Синьяльский лес. Пробыл он там до позднего вечера. Чтобы не смущать рабочих, он отходил в сторону и делал наброски в блокноте. Его интересовало все: и машины, и биографии людей, и их характеры...

Вернулся Семен домой в приподнятом настроении. Обдумывая композицию будущей картины, он напевал песни, шутил с сестрой, то и дело рассказывал о необыкновенных людях, их благородной профессии.

Художник пока еще точно не знал, как у него будет выглядеть картина. Но, начиная с сегодняшнего дня, он уже четко представлял содержание будущей картины. Если даже написать портрет одного лишь лесника, который с нежностью и заботой смотрит за посаженной молодой сосновой рощицей, и то это должна быть интересная картина. Только бы вот суметь показать душу человека, его чувства, настроение!

Занятый своими мыслями, Семен не сразу заметил стоявших возле двери троих ребятшек.

— Ну, проходите, проходите,— пригласил мальчиков художник.— Вы, наверно, пришли узнать, что же это было за ружье?

— Ага,— ответил меньший, но его тут же одернул старший:

— Поздоровайся сначала.

— Здравствуйте...

— Здравствуйте.

— Здравствуйте...— вразнобой еще раз сказали ребята.

— Значит, вам нужен ствол... А зачем он вам?— спросил художник.

— Мы его в музей сдадим,— с готовностью ответил старший.— Кулак Чубай именно из этого ружья застрелил тогда председателя сельского совета...— упорно продолжал мальчишка свою версию.

— Кто вам сказал это?— еще более удивился Семен.

— Папа сказал...

— Откуда он это знает?

— Наш папа все знает!— вперед протиснулся самый младший.

Старший брат снова осадил его. Художник не выдержал, заулыбался.

— Не возражаю, папа ваш, действительно, знает много. Но я, ребята, повторяю еще раз: председателя сельсовета, отца Тимука, кулак Чубай застрелил не из этого ружья. Это ружье принадлежало моему отцу. Если хотите, то я могу подробно рассказать вам, как это ружье попало в реку.

— Хотим!— в один голос ответили ребята, удобно усаживаясь на стулья.

И художник рассказал с начала до конца печальную быль.

— Жалко,— захныкал в конце рассказа малыш,— белую птицу жалко... Я ни разу не видел лебедя...

— Увидишь, малыш, увидишь. Теперь в лесу есть очень добрые люди, они очень любят зверей, птиц, деревья и даже муравьев.

— Муравьев?

— Да, муравьев. Вот теперь послушайте веселую и добрую историю про человека, который бережет и разводит муравьев...— И Семен Кураков рассказал ребятам о леснике, чей портрет он уже видел на полотне своей картины.

СЛУЧАЙ В ДЕРЕВНЕ ЧИРШКАСЫ

Когда Валерий Петрович уезжал в отпуск, его друг и земляк Евгений Иванович Селиванов попросил навесить по пути сестренку Анфису и передать ей сибирские подарки от брата. Лиханов охотно согласился, узнав, что деревни их находятся всего километрах в двадцати друг от друга.

Валерий Петрович приехал в деревню Чиршкасы рано утром. Воздух был чист, свеж, и на всю округу кукарекали петухи.

Подъезжая к деревне друга, Лиханов не мог налюбоваться природой и, извиняясь перед водителем, то и дело просил остановить машину то возле могучего дуба, то возле речки, а то и просто посреди дороги — возле зеленющих хлебов. Шофер вначале удивлялся странностям пассажира, но узнав, что тот из Чувашии, да еще и ученый, смирился и даже охотно вступил в разговор.

Деревня, где прошли детство и юность Селиванова, оказалась довольно-таки большой — улицы протянулись на несколько верст. Рядом, звеня по мелким камешкам,

протекала прозрачная речка. Вдоль нее тянулись небольшие луга, а за ними начинался густой лес. Несмотря на его отдаленность, в деревню доходил благоухающий лесной воздух, особенно в жаркие дни, в пору цветения лип.

В красивое время года приехал Валерий Петрович на отдых в свой родной край: в буйном цветении были травы, луга пестрели от ярких цветов, в воздухе гудели работоры-пчелы, в поле зрели хлеба, в поднебесье заливались трелью жаворонки.

Машина легко взбежала на холм, и Валерий Петрович увидел по обеим сторонам дороги поля. Он попросил шофера (уже в какой раз!) остановить машину и вышел из нее... Полной грудью вдохнул сладковатый запах зреющих хлебов, оглянулся по сторонам и засмеялся, радуясь, словно ребенок.

— Край родной! Как ты красив, как дорог ты душе! Я-то думал, что забыл тебя!— Валерий Петрович посмотрел на водителя и смутился.

Шофер улыбнулся и тоже стал любоваться зреющими хлебами, колышущимися, словно море, зелеными лесами, аккуратной деревенькой вдали.

— И вправду, красиво!— подтвердил водитель.— Вот недавно я ездил за границу. Слов нет, красиво там, но нигде нет таких просторов, как у нас. Мне кажется, что нигде нет ничего равного чувашской земле! Просторы-то какие! Реки! А запах хмеля!.. Может, потому, что это Родина?

— Именно поэтому. Мы родились здесь, выросли...

Минут через пятнадцать машина въехала в деревню Чиршкасы под бодрый аккомпанемент крикливых петухов.

Возле каждого дома — палисадник с фруктовыми деревьями. Штакетники выкрашены в голубые, зеленые, алые цвета. Вдоль дороги насажены ветлы, тополя, березы... За оградами тоже виднелись деревья. Здесь, видно, крепко любят и берегут «зеленого друга».

Валерий Петрович искренне завидовал Евгению, что его Чиршкасы так красивы.

Чиршкасы — по-русоки значит Ельниково. Название деревни Лиханову стало понятно лишь после того, когда он подъехал к западной окраине. Зеленые, почти чернотвольные гигантские ели занимали вокруг деревни гектаров шесть. Каждый житель Чиршкасов берег этот красивый, редкостный для этих мест уголок.

Въехав в деревню, Валерий Петрович спросил у мальчишек, гонявших на зеленой поляне футбол, где живет Анфиса Ивановна Селиванова. Ребята недоуменно смотрели на незнакомца, пожимали плечами. Тогда Валерий Петрович объяснил им, что Анфиса Ивановна — дочь умершей в прошлом году учительницы, а брат ее — инженер, живет в Сибири.

— Вы так бы сразу и говорили, что Анфиса, а то Анфиса Ивановна! — сказали ребята и стали объяснять, перебивая друг друга: сначала, мол, надо проехать магазин, за ним будет клуб, там повернуть направо, спуститься по Нижней улице и уж по Средней улице выехать к речке. Там в крайнем доме живет Анфиса Селиванова.

— Спасибо, ребята, объяснили все очень ясно и просто, — смеясь от души, поблагодарил ребят Лиханов и смелых пригласил в машину. — Садитесь, а то все равно без вас не найду этот дом.

Мальчишки, забыв про футбол, набились в машину.

Вскоре машина остановилась перед небольшим домом на берегу речки. Пассажир рассчитался с шофером, а ребята поехали обратно опять на машине.

«Видно, не легко живется сестренке Евгения, — подумал Лиханов, разглядывая покосившуюся ограду. — Интересно, сколько же ей лет? Даже и не спросил у Евгения. Дома ли она?»

Валерий Петрович нажал на железную задвижку калитки. Калитка не открылась. «Неужели и вправду нет дома?» Он нажал еще раз и посильнее. Калитка не двинулась. В это время Лиханов услышал за собой детский голос:

— А тетя Анфиса на лечке белье стирает!

Валерий Петрович обернулся и увидел недалеко от себя мальчика лет четырех, взъерошенного, как воробей, и сосавшего указательный палец. Малец был босиком, лицо грязное, рубашка на груди испачкана медом и тврогом.

— А ты почему знаешь?

— Я все знаю, — пробубнил ребенок.

— Это хорошо. А речка далеко отсюда? — улыбаясь, спросил Валерий Петрович. — Ну, а зовут тебя как, знаешь?

— Знаю. Боля... А стирает она недалеко... Позвать ее? Я мигом! — блестя глазами, услужливо предложил мальчик.

— Погоди-ка,— остановил Валерий Петрович.— Позвать-то позови, но скажи, если она не кончила стирать, пусть достирывает. Я подожду.

Боря вприпрыжку побежал на речку.

Когда Анфиса услышала, что к ней приехал человек с чемоданом, она подумала, что брат приехал. Где уж тут до стирки! Девушка взбежала на крутой берег, оставив ведро с бельем. Но когда до дома осталось шагов сорок, она присмотрелась внимательно к приезжему и убедилась, что это не брат. Анфиса остановилась на минутку, поправила волосы, платье. Валерий Петрович с интересом наблюдал за девушкой. «На вид ей не больше восемнадцати. Неужели она одна содержит весь дом?»— невольно подумал он.

Анфиса подошла очень нерешительно и смущенно поздоровалась.

Лиханов обратил внимание на то, что девушка была босиком, в выцветшем ситцевом платье, сшитом на русский манер, каштановые волосы заплетены в две толстые косы... Валерий Петрович отметил про себя: «Она не похожа на брата. У Евгения глаза карие, а у нее синие, как васильки! И нос прямой, красивый. Губы полные... Красивая! Удивительно красивая!»

Поборов неожиданно появившееся волнение, Валерий Петрович отрекомендовался:

— Я друг Евгения. Еду из Сибири. Родители мои живут в соседней деревне. Меня зовут Валерий,— приезжий протянул руку.

Девушка крепко пожала небольшую ладонь гостя. Валерий почувствовал заметную силу в девичьих пальцах. «Городские так не жмут». Синие глаза девушки смотрели на молодого ученого ласково, но в то же время настороженно. И вдруг они стали совсем светло-голубыми и заискрились любопытством. Так меняется цвет моря, когда оно спокойно плещется в лучах солнца.

— Евгений прислал вам гостинцы. Вот этот чемодан. Есть еще письмо и шестьдесят рублей денег...— наконец нарушил молчание Валерий и полез в карман пиджака. И только тут он обратил внимание на карапуза Борю, стоявшего в стороне и по-прежнему сосавшего палец.

— Идемте в дом,— радушно предложила девушка.— Вы меня простите, что сразу не пригласила. У меня от радости голова кругом пошла. Вот и держу вас на ули-

це. Калитка у меня заперта, я сейчас открою.— Девушка по-особому дернула рычаг задвижки, и калитка со скрипом открылась.

— Проходите вперед,— пригласила Анфиса, когда вошли в дом. Она смотрела на гостя по-прежнему ласково. На этот раз в ее глазах не было и тени смущения. За ними неторопливо вошел Боря.

— Ой, а я и забыла про тебя, Боренька!— спохватилась Анфиса, увидев мальчика, и достала из буфета конфету.— На, славный мой. Спасибо тебе, заходи еще...

— Не за сто,— с достоинством прошепелявил Боря и, взяв конфетку, вышел, все время косясь на незнакомца.

— Родственник?— кивнул вслед мальчику Валерий Петрович.

— Нет. Соседский парнишка. Смышленный мальчуган. Мне помогает хорошо. А вы садитесь, садитесь,— предложила Анфиса гостю стул.— Может, помоетесь с дороги?

Валерий Петрович улыбнулся и утвердительно кивнул головой.

— У вас колодец во дворе? Люблю летом мыться ледяной водой.— А про себя заметил: «Удивительно серьезная девушка».

— Колодца вот нет,— виновато ответила Анфиса, достав из сундука чистое полотенце.— Я полью из кувшина... Ой, я же белье оставила на речке, на радостях забыла про все!..

Девушка растерянно посмотрела на гостя, не зная, как поступить в данном случае.

— Вы идите, идите,— выручил хозяйку гость.— Я сам тут управлюсь.

— Извините,— совсем смутилась Анфиса и побежала на речку.

«Бывают же на свете такие синие глаза... А вот интересно, какие они, когда она сердится?»—подумал Лиханов после ухода девушки.

Анфиса вернулась быстро. Когда она зашла в дом, Валерий внимательно рассматривал фотографии в рамках, развешанных на стене.

— А здесь, оказывается, и я есть,— сказал он, обращаясь.

— Да, есть,— улыбаясь уголками губ, ответила девушка.— Брат прислал. Я сразу узнала вас, как только увидела. Вы назвали свое имя, а я и отчество ваше знаю:

вы — Валерий Петрович, — теперь совсем по-детски говорила Анфиса. — Брат много писал мне о вас. Я даже знаю, что в тайге вы спасли его от смерти, — и она посмотрела на Валерия Петровича так, как смотрит добрая мать на храброго сына. — Чем же мне вас угостить? Будете яичницу? А может быть, курочку зарезать? Позову дядю Кергури, и он мигом разделает ее.

— Курицу не надо губить, они ведь сейчас несутся, Анфиса, — возразил Лиханов. — У меня в чемодане есть колбаса, пожарим ее, и нам хватит.

— Я сейчас все-таки позову дядю Кергури, а то без него и в доме как-то пусто... — она открыла окно и крикнула: — Боренька, сходи, пожалуйста, за дядей Кергури. Скажи, к Анфисе гость приехал от брата и надо, мол, курицу зарезать.

— Холосо, я мигом! Только вот лосадку оседлаю, — донеслось с улицы.

Лиханов взглянул в окно. Боря оседлал «коня» — прутик — и, покрикивая на него: «Но-о! Быстлей! Кау-лый!» — весело побежал по траве.

Валерий Петрович невольно вспомнил свое детство — вот так же он любил скакать «на конях»...

Пока гость рассматривал фотографии, Анфиса пошла в чулан, переоделась, поставила самовар, развела на сухих щепках очаг.

— Вы сказали, что привезли письмо от брата, — сказала она, когда загудел самовар.

— Простите, я совсем забыл о нем, — и Валерий Петрович достал из кармана пиджака толстый конверт. — И деньги здесь — шестьдесят рублей.

— И зачем он на меня так расходуется! — распечатав конверт, сказала Анфиса. Читая письмо, она чему-то улыбалась, несколько раз очарованно взглянула на Валерия.

— Здесь он пишет и о вас, — заметила она, когда кончила читать. — Послушайте, что пишет брат: «Смотри, Анфиса, как следует угости Валерия Петровича, пусть он поживет у нас хоть денечка три. Вечером бери его на хоровод. Покажи наших девчат, пусть послушает, как они поют. Он два года работал без отпуска, поэтому ему очень нужен отдых. Если ты не выполнишь мое поручение, то тебе попадет. Не забудь, что я твой старший брат».

— О! Я б никогда не подумал, что мой друг может

быть таким строгим!— воскликнул гость.— Знай его такой наказ, я бы, Анфиса, никогда не заехал сюда.

Девушка улыбнулась:

— Вот такой уж у меня брат! Завтра у нас, кстати, праздник песни, всего в пяти километрах отсюда. Я обязательно поведу вас туда, как брат велит,— решительно заявила девушка.

— Что ж, я пойду охотно. Надо выполнять наказ вашего брата,— ответил Валерий Петрович и сам удивился: как это он мог так быстро принять предложение девушки? А ведь хотел сразу же отправиться домой, к старикам-родителям. Но, очарованный непосредственностью хозяйки, ее улыбкой, даже забыл о своем доме...

Девушка слушала гостя, а сама жарила яичницу с колбасой и посматривала на самовар. И делала все это Анфиса ловко, красиво, без суеты.

Когда несложный обед был готов, хозяйка заварила чай и стала угощать умело, как человек, имеющий за плечами большой жизненный опыт. В это время пришел дядя Кергури. Он поздоровался и долго пристально разглядывал гостя. Валерий в свою очередь также разглядывал старика, настроенного, как он чувствовал, боевито. «Лет шестьдесят пять есть. Крепок еще, хоть и худоват. Чувствуется, добряк, а делает вид строгого»,— подумал Лиханов.

Наконец старик неторопливо подошел к столу, снял ветхую, потемневшую от времени соломенную шляпу и протянул шершавую ладонь гостью:

— Ейный,— кивнул в сторону Анфисы,— родной дядя...

— Дядя Кергури,— перебила Анфиса,— это Валерий Петрович, друг Евгения. Они вместе работают в Сибири.

Грозный старик не промолвил больше ни слова, еще раз внимательно оглядел гостя и неторопливо зашагал к книжному шкафу, что стоял около печки. Взял стул и сел.

— А я думал, Евгений приехал,— спокойно, безо всякой досады сказал он и, вытащив из кармана пять рублей, протянул Анфисе:— Доченька, сбегай-ка в магазин, купи водочки. Если наш гость (он так и сказал «наш гость») — друг Евгения, то нам надо угощать его не хуже, чем твоего брата.

— Да у меня деньги есть, дядя Кергури. Я сейчас сбегаяю!— охотно согласилась Анфиса и тут же скрылась

за дверью. Минут через десять, разбурьявившаяся, она уже была дома.

— Я купила только водку, хотела еще вина, да не было...— виновато сказала хозяйка и поставила бутылку на стол. Потом подошла к буфету и зазвенела рюмками, вилками.— Дядя Кергури, а тебе от брата тоже есть подарочек. Но еще не знаю какой,— не поворачивая головы, сказала девушка.

— Не забыл, значит, дядю, молодец. Сразу видна наша кровь...— размышлял вслух старик, кончиками ножиц отковыривая пробку.— А что не было вина — это хорошо даже. Что вино? Только перевод денег: ни уму, ни сердцу... Давай, Валерий Петрович, выпьем за мово племянничка Евгешу!— он налил граненые стопки и лихо опрокинул свою в беззубый рот.

Анфиса открыла чемодан и ахнула.

— Кофточка! Шарфик!.. Косынка! А это на платье!— обрадовалась девушка и тут же приложила яркий отрез к груди.— Это парча? Я даже названия не знаю... Есть здесь и на пальто. Ой, а вот и туфли! Ах, братец ты мой! Зачем ты так расходуешься! Вы только посмотрите, тут еще и духи, и серьги! Уж не хочет ли он, чтоб я выглядела, как городская девушка! А вот, дядя Кергури, это для тебя... Нет, нет, я сама развяжу. Здесь что-то тяжелое! Ага, платок для тети, вот это точно для тебя, дядя, трубка! А это я не знаю... Что же это?— Анфиса взяла в руки большую бутылку и начала рассматривать.— Странно, ничего не написано... Лекарство, что ли?— рассуждала она вслух.

Валерий Петрович не выдержал и засмеялся:

— В этой посуде чистый спирт!

— Вот это да! Вот это племянник!— старик от удовольствия покачивал головой.— Дай-ка сюда, Анфиса. Не забывает нас Евгений. Насчет трубки он говорил еще в прошлом году. Молодец, сдержал свое слово! Ну, а теперь, Валерий Петрович, давай с приездом, что ли?— старик по второму разу наполнил стопки. Вдруг вспомнив что-то, взглянул на Анфису:— Дочка, почему ты не поставишь рюмку для себя?— спросил он лукаво, будто всерьез.

Анфиса махнула рукой.

— Что ты, дядя Кергури!— засмушалась она и отодвинулась в сторону, точно боясь, что ее могут заставить выпить это противное зелье.

А старик по-своему расценил поступок племянницы.

— Теперь уже не маленькая, скоро восемнадцать исполнится. В школе тебе дали аттестат зрелости. Одна удержишь хозяйство! И рюмочку пропустить с разрешения дядюшки можно. Да и гостя дорогого надо уважить...

Не зная, как поступают в таких случаях, Анфиса подчинилась воле дяди и принесла еще одну рюмку.

— Вот и умница! — наливая водку, приговаривал старик.

Когда девушка подняла рюмку, Лиханов весь напрягся: «Неужели выпьет?» И он почувствовал, как ему стало жалко ее. Увидев, что Анфиса едва пригубила, Валерий облегченно вздохнул и с благодарностью посмотрел на девушку. Анфиса этого не заметила.

Но зато старик восполнял за нее: он пил рюмку за рюмкой, становился разговорчивей, веселей. Даже трудно было представить, что еще полчаса тому назад он сидел бирюком. Захмелев совсем, старик стал собирать-ся домой.

— Я провожу его, — предложил Валерий Петрович.

— Нет, не надо, я сама провожу. Он недалеко здесь живет. Вы сидите, я скоро... — прошептала Анфиса и, подойдя к старику, ласково сказала: — Дядя Кергури, идемте домой. Там тетя ждет...

— Пошли, доченька, пошли...

И Валерий Петрович снова остался наедине со своими мыслями в чужом доме.

«Странно, думал заехать только передать гостинцы и скорее к своим старикам, а получилось вон что. А я даже рад, что все так сложилось. Анфиса! Удивительное создание! Нежна, кротка, как ребенок! Красива и одновременно мудра, хотя только восемнадцать! Успевает хозяйство вести и учиться! И что так мало о ней рассказывал Евгений?»

Сумерки наступили быстро. Солнце зависло над ельником на окраине деревни. Скоро оно опустится еще ниже, и лучи его пронзят, как стрелы, зеленые кроны елей.

Валерий Петрович смотрит на природу глазами художника. Он любил рисовать еще в детстве. Потом, уже учась в аспирантуре, снова и снова вспоминал о былом увлечении — при первой возможности брал мольберт и писал пейзажи с натуры. После защиты кандидатской диссертации он по-прежнему продолжал заниматься ри-

сованием. Даже в такую дальнюю дорогу он взял с собой карандаши и альбом для рисования.

Закат солнца, темные пики елей на горящем небосклоне так захватили молодого ученого, что он решил немедленно набросать это в альбом. Валерий Петрович взял карандаш, альбом и, не дождавшись хозяйки, вышел из дома.

— Куда вы?— спросила Анфиса, встретив его на улице.— Я отвела дядю. Любит выпить,— продолжала девушка стыдливо.— Тут еще тети не было дома, вот я и возилась с ним. Она пришла только что. Спирт я отдала ей, а то он выпил бы опять,— и девушка открыто заулыбалась, радуясь своей маленькой сообразительности.

Неожиданно на глаза Анфисы упали багряные лучи солнца. Девушка прищурилась и чуть прикрылась ладошкой. Однако Лиханов заметил, как зрачки у Анфисы стали синими и заблестели. «Вот бы нарисовать эти глаза, но как передать их красоту?— подумал Валерий и тут же сделал вывод:— Нет, никакой художник, пожалуй, не сумеет передать их живость, необыкновенный цвет и те искринки, которые загораются в них...»

Анфиса заметила, что Валерий Петрович долго и внимательно рассматривает ее. Она смутилась и опустила глаза. Растерялся и Валерий. Желая как-то отвлечь внимание девушки, Лиханов спросил:

— Наверное, вон то каменное здание — школа? — показал он на кирпичный, крытый железом дом.

— Школа,— ответила Анфиса и еще больше залилась краской. Понимая гостя, она продолжила:— В прошлом году мы ее построили...

— Сами?— удивился Валерий Петрович.

— Да, сами. От фундамента до крыши делали учащиеся старших классов, ну, конечно, и малыши помогали. Сейчас у нас все оканчивающие среднюю школу получают специальность... Я, например, штукатур. У меня даже есть свидетельство,— серьезно и гордо говорила девушка.

— И все-таки, Анфиса, неужели все делали сами? Прямо не верится! Вы тогда просто молодцы!

— Я уже говорила, Валерий Петрович, что все делали сами. Из города приезжал лишь мастер, который консультировал нас по всем вопросам и руководил нашей работой. Он многому научил нас. Но позже мы работали сами... Вы, наверное, забыли, Валерий Петрович, что

мы — деревенские! Лопату, топор, молоток мы сызмальства умеем держать. А каменные дома теперь строят и в соседних деревнях. Много трактористов наша школа дала колхозу. Да вообще ребята разных профессий теперь работают в колхозе. Мы построили не только школу, а еще и отличную мастерскую! А сейчас ребята строят столовую.

— Удивительно! Если бы кто другой говорил, я бы не поверил! — и Валерий Петрович нежно посмотрел на Анфису, чем сильно смутил ее. — А учиться дальше думаешь?

— Не знаю, пожалуй, нет. Если и поеду, то не нынче... Дом ведь не бросишь... Если бы не умерла мама, все было бы иначе... — в голосе девушки появилась печаль. — Брат говорит, продавай дом, а дядя Кергури велит подождать. Он сейчас для меня вместо отца. Говорит, какой ни есть дом, а все свой угол... Не знаю, что и делать...

Эта беседа омрачила лицо Анфисы, глаза ее потемнели. Она опустила голову, носком желтой туфли потерла по траве, о чем-то задумалась. «Напрасно я затеял этот разговор, — с досадой подумал Валерий Петрович. — Только расстроил девушку». И тут же попытался успокоить ее:

— Не горюй, Анфиса, — сказал он тихо. — Твоя жизнь только еще начинается. У тебя все впереди. Я верю, что все будет хорошо...

— Спасибо за доброе слово, — подняла голову Анфиса и посмотрела куда-то вдаль.

Она сейчас стояла к Валерию Петровичу в профиль. Лучи уходящего солнца четко вырисовывали ее тонкие черты лица, линии шеи, стана... «На забытую лебедушку похожа!» — подумал Лиханов и тут же спросил себя: «Почему образ Анфисы так много места занял в моих мыслях?» Улыбнулся своим мыслям и ответил: «Видно, потому, что она сейчас печальна... А потом — этот закат и особенно ее шея...»

Боясь еще раз смутить девушку, Валерий Петрович тихо сказал:

— Я ведь, Анфиса, немного художник. Вот мне и хочется сделать два-три карандашных наброска. Красивые здесь у вас места!

— Мне и самой кажется, что нет на свете красивей нашей деревни! Тогда вы погуляйте, а я дома приберу.

Скоро пригонят стадо, надо будет корову доить,— и вдруг озорно спросила:— А вы любите парное молоко?

— Любил когда-то, а теперь, живя в городе, отвык, видно... Я хорошо помню, когда был маленьким, мне нравилось смотреть, как мама доит корову. А в руке у самого ковшик. В конце доения мама брала этот ковшик и надаивала мне самое вкусное, самое густое молоко...

— Тогда сегодня я обязательно угощу вас, как ваша мама. Самым вкусным, самым густым парным молоком,— сказала весело девушка и направилась к дому.

Валерий Петрович проводил ее нежным взглядом и пошел на речку. Выбрав на берегу густо поросший сочной травой бугор, сел и задумался о превратностях человеческой судьбы.

Думал ли он, уезжая в отпуск, что в деревне Чирш-касы у него будет такая встреча! Мало ли он встречал в своей жизни красивых, умных девушек! Модно одетых, умеющих поговорить о театре, кино, степенных и веселых, гордых и кокетливых... Но ни одна из них не взволновала его душу, как эта деревенская красавица, одетая по-деревенски просто, практично, чтобы работать было удобно. Может быть, всю красоту придают Анфисе ее глаза? Или длинная шея без единой морщинки, тронутая крепким деревенским загаром? А может быть, ее не по годам серьезный разговор и постоянная печаль в глазах?..

Мысли Лиханова были нарушены чьими-то шагами. Он обернулся и увидел сначала крепкие, красивые ноги. Поднял голову — перед ним стояла улыбающаяся Анфиса.

«Как же ты прекрасна!»— чуть не воскликнул Лиханов, продолжая разглядывать девушку с нескрываемой нежностью.

— Ой, кажется, я помешала вам!— засмущалась Анфиса.— Я оставила вам парное молоко... Но, видно, зря побеспокоила. Вы о чем-то думали, да? Я и сама люблю здесь сидеть. Никто не мешает, тихо... Птицы поют, речка журчит. Сейчас-то птицы не поют, отдыхают, а речка все журчит... Посидишь-посидишь вот так и не заметишь, как и сама с речкой вроде понеслась куда-то... Как во сне... Вспоминается детство, прочитанные книги. У вас такого не бывает, Валерий Петрович? Может быть, это случается только со мной? Вы не удивляйтесь, я это вам

говору, как брату... И знаете еще, пока я не увидела вас, об ученых думала совсем иначе. А вы, ученые, оказываются такие же люди, как и все. И вас тоже мать поила парным молоком, угощала сметаной...— Анфиса присела на траву, сорвала мятлик.— Брат пишет, вы годам к тридцати пяти станете доктором наук. Завидую вам. Я всегда считала себя несчастливой: росла без отца, затем умерла мать, дома осталась одна... Но мое счастье не зависело от меня, поэтому я и не обижаюсь на себя, не досаую... Мне даже кажется, что я счастлива, как и все люди... А вам можно завидовать. Вы такой молодой, а уже известный ученый, столько видели, очень много знаете...

Валерий Петрович поймал себя на мысли, что он очень внимательно слушает девушку, хотя и говорит она обычные слова. А все, видно, потому, что каждое слово ее идет от души и она непосредственна и мила, как ребенок. И Лиханову вдруг захотелось обнять это нежное кроткое существо. Но взглянув в доверчивые глаза девушки, он испугался своих мыслей, они показались ему пошлыми, грубыми. Валерий отвернулся, чтобы как-то не выдать себя. Анфиса, ничего не замечая, продолжала рассказывать о своей мечте стать учительницей, о малыше Борьке — ее верном друге, о колхозных новостях...

Когда девушка кончила, Лиханов шутливо заметил:

— А завидовать мне нечему. Во-первых, я старше тебя почти на десять лет. Значит, к двадцати восьми годам и ты многого добьешься, увидишь. Во-вторых, Анфиса,— голос Лиханова задрожал,— ты и сейчас знаешь немало. И самое главное — у тебя доброе сердце... Я был бы рад, если бы женился на такой девушке,— сказал и покраснел.

— Я думала, что вы женаты уже...— опустила голову Анфиса.

— Не успел еще,— желая разрядить обстановку, деланно засмеялся Валерий Петрович.— Поэтому мне и приходится невольно считать восемнадцатилетних девушек девчонками...

— Почему?

— Потому что... потому что, если думать иначе, может случиться беда... Вдруг влюблюсь, а сам-то стар...

Анфиса серьезно посмотрела на Валерия:

— Напрасно вы так говорите. Разве вы стары?

— Нет, конечно!— отшутился Лиханов и, боясь, что

эта тема разговора может завести их далеко, встал и сказал:— А молочко-то, наверное, стынет...

— И правда! Я совсем забыла! Пойдемте скорее, скорее...

...Войдя в дом, Валерий сразу же почувствовал сладкий запах парного молока. На столе стояли кринки, прикрытые марлей. Рядом — ковш, и тоже прикрытый белой бумагой.

— Вот ваше молоко, пейте,— пригласила Анфиса, показывая на ковшик.

Лиханов жадно прильнул к посудине и залпом выпил ароматное, еще чуть теплое молоко.

— Вкуснотища!— с удовольствием отдуваясь, сказал Лиханов и вытер платком губы.— Спасибо, Анфиса.

Вечером они пошли смотреть хоровод на лужайке, возле молодых посадок. Анфиса познакомила Лиханова со своей подругой Галей, крепкой, невысокого роста девушкой. Весь вечер, пока водили хоровод, они ходили втроем. Галя щебетала, как птенец, и все хохотала. Вернувшись с хоровода, Анфиса не отпустила Галю домой, а попросила ее переночевать у нее. Девушки легли в сенях, гостю постелили в избе.

Уставший за день, Валерий Петрович думал, что уснет, как только доберется до постели. Но, как назло, сон не шел. Снова, в какой уже раз, Валерий думал об Анфисе, припоминал каждую черточку ее лица, малейшую интонацию голоса. Ему казалось, что он давным-давно знает эту чудесную девушку. Потом вдруг Валерий вспомнил своего учителя, академика Асламазяна. «Еще в аспирантуре, Лиханов, я надеялся на тебя,— сказал ему перед расставанием академик.— Надеюсь и сейчас, но, пожалуйста, не проводи время впустую. Всю свою жизнь, энергию каждой клетки организма отдай науке!..— Затем достал из бара коньяк, наполнил рюмки.— Еще не женился?»— спросил он.

Валерий покачал головой, а академик проговорил:

— Надо жениться. Нашему брату это необходимо.

Тут же он вспомнил красивую женщину, которая летела с ним в самолете и очень настойчиво спрашивала, кто он по специальности, женат ли, почему не едет на юг отдыхать, и всякий раз мило улыбалась, показывая свои ослепительно белые зубы.

Уже засыпая, Лиханов снова увидел печальное лицо Анфисы.

На следующий день молодая хозяйка повела гостя на праздник песни. На огромной поляне, окруженной белоствольными березками и ветвистыми липами, собралась почти вся деревня. В круг входила не только молодежь, но и пожилые люди. Они исполняли старинные чувашские песни в сопровождении целых музыкальных ансамблей из народных инструментов. Лиханова радовало то, что молодежь душевно, тепло исполняла и народные песни, прошедшие через века, и с задором, весело пела современные.

— Нравится?— спросила девушка гостя после того, как хор пенсионеров исполнил древнюю народную песню.

— Очень! Я не думал, что наши песни так напевны и мудры!— ответил Валерий.

Потом они пошли на хороводы. От счастья Лиханов чувствовал себя на седьмом небе. Все шло хорошо: Анфиса сегодня держалась уже не так стесненно. Она много смеялась, хорошо понимала шутки, оказалась прекрасной собеседницей. Вернулись они домой радостные и довольные друг другом.

— Давай-ка я попробую срисовать тебя,— сказал Валерий, усаживая девушку на стул.— Может, что-нибудь и получится. Сиди вот так спокойно, хорошо?

Анфиса хотя и позировала неохотно, но душа ее ликовала: подумать только, известный молодой ученый — и вдруг рисует ее портрет!

Лиханов выбрал удачный ракурс и, волнуясь, наносил штрихи будущего портрета. Он так осторожно и любовно водил карандашом по бумаге, что казалось, будто рисует по живой ткани человека.

— Вот так, хорошо, Анфиса, не опускай голову, не сердись на меня...— приговаривал он.

— Я и не сержусь,— ослепительно улыбалась девушка.

— Вот-вот, вот так,— упоенно рисовал Валерий.

Стало темнеть. Лиханов зажег свет. И тут он услышал сквозь открытое окно фыркание лошади, остановившейся возле дома.

— Это к нам приехали,— сказала, волнуясь, Анфиса и посмотрела в окно.— Точно к нам...— Глаза ее потемнели и стали большими, а лицо то бледнело, то пламенело.— На тарантасе... Трое...

И действительно, скоро в дом вошли трое — пожилой мужчина, молодой парень и женщина. Они поздоровали

лись, поклонились и, видя, что Анфиса и Валерий Петрович молчат, продолжали стоять у порога.

— Проходите в переднюю,— наконец нашлась что сказать хозяйка.— Так неожиданно, что я даже растерялась...

Красивый парень, широкоплечий мужчина и, видно, бойкая женщина прошли вперед и уселись на стулья, огляделись кругом. Мужчина начал сворачивать сигарку и несколько раз бросил любопытный взгляд на Валерия Петровича.

— Что-то не узнал я вас,— сказал он наконец.— Евгений, а может, и не Евгений? Его-то я знал. Видел всего однажды, правда, когда он приезжал на похороны матери. Парень в костях крепкий, и голова, говорят, хорошо варит.

— Я — его товарищ,— ответил Валерий Петрович.— В одном городе работаем. А вы-то сами кто будете?

— Сами-то мы... мы-то... Я — дядя Никона, Иннокентий Сидорович Павлов,— и он кивнул в сторону парня,— а это моя жена, Клавдия, тетя, выходит, Никона... Анфиса хорошо знает Никона! О нем не раз писали в газетах. А недавно вот в Чебоксарах о нем тоненькую книжку написали. Да, прославился мой племянник,— словоохотливо заговорил мужчина.— Он заведует фермой, разводит породистый скот... Кроме того, он еще и студент. Заочно учится. Говорит, будет ученым-селекционером. А что? И будет, я не сомневаюсь.

Сколько бы еще говорил дядя Никона, неизвестно, если бы племянник не перебил:

— Не надо, дядя, об этом... При чем тут газеты, ферма, скот?

Анфиса сидела за столом с опущенной головой и вертела дрожащими пальцами карандаш. Лиханов догадался, зачем пришли люди — сватать Анфису.

— Я думаю, что не стоит придерживаться старых обычаев,— продолжал Иннокентий Сидорович.— Нынешняя молодежь не очень-то их уважает. Верно племянш заметил, не будем говорить о телках. Ну, я скажу вам серьезно,— мужчина встал и заходил по комнате.— Если наш Никон будет и в дальнейшем жить так, как жил до сих пор, то из него никакой селекционер не выйдет, запустил за последнее время ферму. Видите ли, любовь у него...

— Хватит, дядя!— взмолился Никон.

Анфиса вышла из-за стола и подошла к окну, выходящему в сад, открыла его настежь и встала спиной к приехавшим.

— Простите, я накурил тут,— сказал дядя Никона, заметив, что в комнате даже сизо от дыма. Он потушил сигарку о подошву сапога и положил ее в карман.— Одним словом, Анфиса, мы приехали сватать тебя...

В избе стало тихо. Было слышно, как ползает по газете муха.

— Сама видишь, мы приехали к тебе честь по чести, с уважением, потому как, Анфиса, наш Никон говорит, что он не может жить без тебя. Не по дням, а по часам сохнет он от любви к тебе...— Сват выставил на стол бутылку водки и красного вина.— Что поделаешь, таков обычай, не от нас он идет... Да и тебе пора замуж.

— Так уж, такой уж обычай,— с бабьим причитанием подсказала тетка Никона.— Надо бы позвать и дядю Кергури, все же твоя родня.

— Не надо его звать, я и сама не маленькая,— тихо, дрожащим голосом ответила Анфиса и выбежала в сени.

— Мы и сами говорим то же,— обрадовалась женщина.— Ведь тебе восемнадцать, чай, не маленькая. И-и-и, а раньше в шестнадцать выходили замуж. Вот я сама вышла в семнадцать... Была бы любовь. Оба вы — ученый народ! Ты, вон, кончила среднюю школу, Никон в прошлом году поступил в институт... Оно, конечно, не хочется расставаться с девичьей жизнью, но ведь ягоды рвут, когда они поспели. А о парне сказать, так он весь перед тобой... Отца его в деревне прозвали «Красивый Микка», и сын пошел в отца. Все говорят...

— Хватит,— покраснел Никон. Но тетка не слушала его и продолжала свое:

— Если говорить о доме, о хозяйстве, тоже все на виду: все чисто, прибрано, ухоженно. Закрома полны, в хлеву полно скотины! А корова в сутки дает почти два ведра молока!..

— Тетя,— разразившись смехом, сказал жених,— не лишку ли ты наговорила? К чему здесь разговоры о корове? Ну, пусть хорошо доится она, ну и что ж?.. У нас и на ферме коровы не хуже...

— Ты меня не прерывай, я правду говорю! — остановила племянника тетка.— Что ты сидишь, как воды в рот набрал? Вон, иди в сени и договаривайся с ней. На работе ты — огонь, а с девушкой — теленок!

Парень, видно, действительно решился поговорить с Анфисой. Он встал и пошел к дверям. Но он не успел перешагнуть порог, как Анфиса сама вошла ему навстречу. Лицо ее горело, глаза испуганно блеснули, руки дрожали.

— Валерий Петрович,— сказала Анфиса, не поднимая головы,— вы можете выйти ко мне? — И скрылась в сенях.

Валерий Петрович, не менее растерянно, чем Анфиса, посмотрел на сватов, жениха, не спеша встал и пошел следом за девушкой. В глазах сватов застыло недоумение, они молча, взглядом проводили Валерия до двери...

Анфиса стояла во дворе под вязом, что рос рядом с сараем. Лиханов медленно спустился с крыльца и подошел к ней.

— Я слушаю тебя, Анфиса...

Девушка ответила не сразу. В темноте не было видно ее лица, но Валерий слышал частое, возбужденное дыхание девушки и чувствовал ее волнение.

— Да что говорить-то, Валерий Петрович?

— Ты его любишь?

— Не знаю... Он говорит, что любит меня очень...

Шесть раз приходил на хоровод в нашу деревню, шесть раз провожал меня с хоровода. Говорит, умрет, если я не выйду за него. Он давно предупреждал меня, что сватов зашлет, вот и исполнил свое обещание. Что мне сейчас делать? Что сказать им?..

Валерий Петрович подошел к дереву и оперся головой о холодный его ствол. Он был настолько растерян, что не знал, как вести себя. Он хотел уйти еще раньше, чтобы не быть свидетелем всего происходящего. Вот и сейчас, что ответить ей? Сказать: выходи или не выходи? Но откуда ему знать, что у нее на душе? Он же совершенно не знает их взаимоотношений. Никон — парень довольно представительный, видно, на самом деле, любит Анфису. А она? Что он знает о ней? Единственно, что за эти два дня она стала для него дороже всех на свете... Но ведь он не может сказать ей об этом! А они давно знают друг друга... Нет, все же он не имеет права вмешиваться в их дела... Он человек здесь совсем случайный...

Лиханов уже решил было сказать Анфисе, чтоб она выходила за Никона. Но девушка так посмотрела на него, что он осекся и забыл приготовленные фразы. Вале-

рий смутился и отвернулся, не в силах высказать роковых слов.

— Валерий Петрович,— нарушила молчание Анфиса,— я жду вашего совета! Будьте мне вместо брата...

«Нет, нет, нельзя вмешиваться! Анфиса не ребенок, знает что делать. Никон — парень хороший, красивый, славится на всю республику... Может быть, это и есть ее счастье?!» — лихорадочно думал Лиханов.

— Ну, Валерий Петрович, скажите хоть что-нибудь! — взмолилась девушка, с трудом сдерживая слезы.

— Анфиса, голубка, не выходи! — вырвалось у Валерия.

Девушка отшатнулась. Она приоткрыла рот, словно что-то хотела сказать. Ее и без того большие глаза стали огромными и удивленно смотрели на Валерия Петровича.

— Почему, Валерий Петрович? — едва переводя дух, шепотом спросила Анфиса.

— Потому что ты просила у меня совета... Вот я тебе и дал его. А потом, если человек любит, то он никогда не спросит совета... — как отрубил, сказал Лиханов.

— Спасибо, Валерий Петрович, — облегченно вздохнула Анфиса и вдруг уткнулась лицом ему в грудь и затряслась как в лихорадке. Не то она плакала, не то смеялась от радости.

Вернувшись в дом, Анфиса спокойно сказала:

— Не обессудьте... За Никона я замуж не пойду. Он очень хороший парень и красивый... Но я его не люблю. Никон, не сердись на меня. Зачем тебе жена, которая не любит тебя?

Сваты ушли сконфуженные и обиженные. А Никон посмотрел на Валерия Петровича как на кровного врага.

Когда затихла отъехавшая бричка, Анфиса подошла к пригорюнившемуся гостю и ласково сказала:

— Пойдемте, Валерий Петрович, послушаем, как течет-звенит речка.

Они вышли на притихшую вечернюю улицу и переулком спустились к речке.

Было уже совсем темно. Деревня приготовилась ко сну, угомонились петухи и собаки, только во дворах сопели и шумно жевали жвачку коровы.

Вдруг тишину нарушил многоголосый хор. Девушки пели с душой, точно о своей судьбе. Начинала одна, ей вторила другая, и потом уже песню подхватывали

остальные. Песня то нарастала, то печально затихала, чтобы с новой силой передать небу, просторам музыки вечной любви:

Течет-звенит речка,
Речка быстрая, как слезинка, чистая,
Она течет куда-то, а камушки остаются...
Родимый, любимый, пойми сердцем сам,
Века проходят, а жизнь вечна...

* * *

На другой день Валерий Петрович отправился домой. За эти дни было столько переживаний, волнений, что он решил больше не испытывать судьбу. Анфиса проводила его до шоссе. Всю дорогу они шли молча. Гость чувствовал себя очень виноватым перед девушкой и не знал, о чем говорить с ней. Анфиса шла с опущенной головой. За эту ночь она осунулась — не спала. Валерий тоже не спал. Он слышал, как она ворочалась в постели. Не раз собирался выйти в сени, но робость и нежность к Анфисе удерживали его.

— Ну, что передать брату? — нарушил молчание Валерий Петрович, когда они вышли на шоссе.

— Привет передайте... Спасибо ему за подарки...

Со стороны Ядрина неслась машина. Лиханов торопливо пожал руку Анфисе и взглянул ей в глаза. И тут его сердце больно защемило. Оно забилося часто-часто.

— Ну, Анфиса, прощай!

— Прощайте, Валерий Петрович, — прошептала Анфиса и, высвободив руку, отвернулась. Плечи ее дрожали.

Лиханов схватил ее маленькие, сильные ладони и хотел еще раз взглянуть ей в лицо, но Анфиса вырвалась и побежала по пыльной дороге в сторону деревни.

* * *

Валерий приехал домой и все эти дни думал об Анфисе. Он считал себя виноватым перед девушкой — зачем он отсоветовал ей выйти замуж за Никона?

«Действительно, зачем я сказал ей, чтобы она не выходила за него замуж? Почему я вмешался в чужую жизнь, поддавшись своим эгоистическим чувствам?» Ли-

ханов вспомнил искаженное болью лицо Анфисы, ее взгляд, полный упрека, и бегство от него. «Почему, почему я ничего не сказал ей?— корил себя Валерий.— Нет, видно, я мерзкий человек! Сам живу без любви, не женюсь и людям мешаю. Завидую их любви? Боюсь, что они женятся? Зачем ты смалодушничал? Зачем отговорил Анфису? Не мог осмелиться высказать ей свои чувства. Эгоист несчастный!»

Желая как-то скоротать время, Валерий брался за альбом и начинал работать над портретом Анфисы. Но как он ни старался, портрет получался никудышный. Он злился на свою художническую бесталанность. И вот однажды он сказал матери, что поедет в Чиршкасы.

— Зачем же тебе это понадобилось?— смиренно спросила мать.

Отец ответил за сына:

— Теперь, старуха, молодежь чудит, не поймешь ее...

— За невестой я еду,— вдруг сказал Валерий.

— Давно бы так. А то живешь, как бобыль,— обрадовался старик.— Я уж думал, что ученым теперь не положено семьей обзаводиться, а оно выходит, что нет...

В тот же день Лиханов добрался до Чебоксар, а оттуда на такси поехал в Чиршкасы.

— Если можно, побыстрее, пожалуйста,— попросил он молодого водителя.

— Жениться, что ли?— пошутил шофер.

— Точно, жениться,— серьезно ответил Валерий, не поняв шутки.

Подъезжая к Чиршкасам, Лиханов вдруг стал волноваться: как Анфиса встретит его? Может быть, она надумала выйти за Никона? Он еще хорошо помнит его взгляд, полный укора. Он-то ее любит, а она? Может быть, так просто понравился поначалу — и все, а он, дуралей, черт знает что подумал!

«Будь что будет,— твердо решил Валерий.— А ей я скажу, что жизни теперь у меня нет без нее. Кажется, и Никон так говорил?»— с улыбкой думал Лиханов, подъезжая к знакомому дому.

Анфиса в это время собирала малину в небольшом садике перед домом. Когда она увидела, что перед домом остановилась легковая машина, поставила чашку на землю и стала смотреть — кто же это приехал? Ей казалось, что она видит сон,— из машины вылез бледный Валерий Петрович и неуверенно направился к ней.



— Валерий Петрович!— крикнула Анфиса и побежала навстречу Лиханову...

Валерий долго и нежно целовал заплаканное лицо любимой и шептал:

— Как я боялся, как я боялся...

Отпустив такси, Лиханов с Анфисой пошли в дом. Снова долго смотрели друг на друга, точно боялись, что опять расстанутся. Наконец Валерий вспомнил, что он предусмотрительно купил в Чебоксарах вино и разной закуски.

— Надо бы, Анфиса, твоего дядю позвать,— сказал Валерий.— Скажем ему, что женимся.

— Конечно,— охотно согласилась девушка.— Боренька, позови, пожалуйста, дядю с тетей,— крикнула она, высунувшись в окно.

— Холосо,— отозвался мальчонка, игравший, как всегда, перед домом Анфисы.

— На этот раз ни с кем не будешь советоваться?— шуточно спросил Валерий Петрович.

Анфиса молча уткнулась лицом в грудь Лиханова.

— Я каждый день, каждый час вас ждала,— прошептала она вдруг и заплакала.— Никон три раза приходил... А я все вас ждала... Вчера отправила документы в институт...

— Ну, а плакать больше не надо, женушка моя. И теперь для тебя не «вы», а «ты», приучайся командовать мной с первых же дней...

— Ладно, привыкну,— отвечала счастливая Анфиса.

Вот что произошло в деревне Чиршкасы с молодым ученым Лихановым.

ОТЛОЖЕННЫЙ ПОХОД

Вот уже который год приглашает меня к себе в гости Хведер Путянин. И нынче, в конце мая, пришло от него письмо. «Дорогой Педер! С первого июня ухожу в отпуск. Приезжай. Обойдем окрестные деревни: Тархань, Сундырь, Убамсу, Айбоси, Малиновку, Липовку, Шатьму... Они все расположены в красивейших местах, кругом лес. Пойдем с ружьями на боровую дичь, заночуем у костра. Приезжай!»— писал он, и я понял, что это приглашение «не дежурное»,— так, на всякий случай, а искреннее и сердечное желание его души доставить мне удовольствие.

Когда-то мы с Хведером Путяниным служили вместе на советско-афганской границе. Там и подружились крепко. Теперь он живет в своем родном селе Большие Арабузи. Работает слесарем в райобъединении «Сельхозтехника».

Такие письма от старого друга я получаю довольно часто и никак не могу навестить его. «Точка,— решил я на этот раз.— Хватит. Нынче обязательно поеду. А то ведь и заржаветь можно, сидя постоянно на одном месте».

На письмо друга я не ответил, а заявился к нему третьего июня. Это было как раз то время, когда поля и леса звенят от птичьей трели, а луга и поляны усыпаны благоухающими цветами.

Когда я вошел во двор, Хведер ремонтировал крышу сарая.

— О! Наконец-то уважил однополчанина!— закричал сверху Хведер.— Может, просто решил помочь мне?— шутил он.— Я сейчас, вот только последний гвоздь вобью. Остальное потом доделаю,— сказал он, быстренько свернув работу и легко спускаясь с лестницы.

«Наверное, прохудилась крыша, вот и латает»,— подумал я. Так оно и оказалось. Недавно здесь разбойничал шальной ливень, который смыл небольшие мосты, подмыл дороги, ураган не обошел и крыши. Путянинский сарай он так размочалил, что даже гнезда ласточек оказались смытыми. А птицы-то в это время как раз высиживали своих птенцов.

Хведер ловко спустился по лестнице, которая жалобно скрипела под его могучей фигурой, стиснул меня в своих медвежьих объятиях и торопливо, возбужденно заговорил:

— Ну и птицы, оказывается, эти ласточки! Ты только посмотри, что сделал ураган с их гнездами,— расшвырял, разбил яйца, а они, хотя и маленькие, все равно не сдались. За несколько дней сляпали новые гнезда, снова снесли яйца и вот опять высиживают! Вот тебе жизнь, вот тебе стремление к продолжению рода! Молодцы!.. Извини, что это я про птиц. Неравнодушен я ко всем зверям и насекомым... Ну, как добрался? Рассказывай, а я пока двор приберу: уберу щепки, навоз. Неудобно все же при друге в таком виде двор содержать.

Я хотел было помочь ему, но он так цыкнул на меня, что у меня пропала всякая охота.

— Ты что, и впрямь, наверное, думаешь, что я тебя для работы пригласил?— смеялся он.

Тщательно подметая двор, Хведер рассказывал:

— Был у нас учитель, Иван Васильевич Янаслов, такой худенький, подвижный, как ртуть. Он все говаривал: «По состоянию двора можно судить о хозяине. Пусть у такого человека и в избе чисто, а если беспорядок во дворе, значит, это неряшливый хозяин». Нас он учил с пятого по седьмой класс. Сейчас старик на пенсии... Ну, а теперь айда, снимай верхнюю одежду да умойся. Коль не устал, ходим в ближний бор. Может, грибов наберем...

Я смотрел на своего друга и любовался им. У него все в руках ладилось. Оказывается, он несколько не изменился! Сколько лет прошло после окончания службы? Шесть? Точно, шесть! И тогда он был такой же: минуты не мог посидеть без дела. Умывшись, я не успел войти в избу, а он уже запланировал в лес за грибами. А какие могут быть грибы в это время?

— Помню, как нам, малышам, Иван Васильевич напоминал часто, мол, перед тем, как войти в дом, надо обязательно вытирать ноги. Это уважение к дому и хозяйке дома. Культурные и высокообразованные люди всегда так поступают.

Хведер вытер ноги о тряпки, расстеленные на крыльце, и, поглядывая на меня, с хитрой улыбкой добавил:

— Умный и добрый был учитель. Ну, значит, говоришь, нормально добрался? Признаться, я ведь и не верил, что приедешь. Столько лет обещал — и на тебе, как снег на голову. Хоть бы телеграмму дал, я бы встретил тебя, приготовился. Ну да ничего, спасибо, что так приехал...

Дома Хведер был один. Мать ушла на плантацию хмеля, а сестры, оказывается, повыходили замуж: одна — четыре года назад, другая — в позапрошлом году. А отец его в пятидесятом году на лесозаготовке попал под дерево и через день скончался.

— Ничего, ничего,— балагурил хозяин,— мы не растеряемся. Ведь солдат и из топора сможет кашу сварить. Ты открой вон тот буфет и достань оттуда все, что нужно, а я поджарю быстренько яичницу.

Он принес из чулана целый тазик яиц, чашку с топленым маслом, банку балтийских килек. Я открыл буфет. Там стояла бутылка водки, коньяк и портвейн.

«Вот кулак, вот барон!»— про себя подумал я с улыбкой. Он, видно, догадался, о чем я думаю, и заметил не без гордости:

— Что, думаешь, только вы, городские, умеете жить культурно? И мы не хотим от вас отставать.

Пока Хведер хозяйничал на кухне, я осмотрел комнату. В углу стоял телевизор, в комнате была хорошая мебель, большой книжный шкаф. Питая слабость к книгам, я внимательно просмотрел их. Книги были редкие, со вкусом подобранные, в основном произведения ведущих писателей.

— Книжки у тебя — что надо,— сказал я.— Даже зависть берет.

— Одни достал, переплатив деньги, другие по подписке получил. Вообще-то с хорошими книжками — проблема. Ты бы там в городе подсказал товарищам...

Когда мы сели за стол, Хведер заметил, что я с любопытством рассматриваю портрет Лермонтова, висящий на стене, и вдруг начал читать:

— Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

Это стихотворение Иван Васильевич любил нам читать. Помню, стоял, глядя куда-то поверх наших голов, и задумчиво говорил: «Такое маленькое стихотворение, дети, а мыслей, мыслей в нем — на всю жизнь...» И тут же переводил на чувашский язык. А портрет этот повесила наша Инерпи. Рамку я сам сделал. Как посмотрю на него, так сразу вспоминаю «Парус», а вместе с ним — Ивана Васильевича. Три дня тому назад видел его, сильно изменился он — похудел. Говорят, у него рак. Как бы не умер. Что-то весь день сегодня его вспоминаю. Что это я все говорю, говорю?.. Расскажи-ка ты о себе, как жил эти годы, что делал?

— Ну, что я могу рассказать о себе? Город, суета, скорость, шум. Ты вон заботишься о ласточках, а нам — некогда. Завидую я тебе.

— Завидовать мне нечему,— смутился мой друг.— О птицах и животных мы все должны беспокоиться. Заботясь о них, мы сами облагораживаем себя, становимся чище, добрее,— серьезно заговорил Путянин.— Вообще-то хватит философствовать, давай выпьем за встречу,— сказал он, разливая коньяк по рюмкам.

После первой рюмки я закурил.

— Все еще куришь? — спросил мой друг, открыв окно. Тут же он полил из графина герань, стоявшую на подоконнике, и поправил дорожку на телевизоре. — Я тоже ведь когда-то совсем было пристрастился курить. В девятом классе еще учился... — Хведер засмеялся. — Курил тайком, в туалете — лучше места не было, видно. Однажды меня поймал Иван Васильевич. Тогда он уже не учил нас, но мы по-прежнему любили его. Я готов был сквозь землю провалиться. Стою, как будто меня пригвоздили к полу, а в руке сигарка дымится. Он с минуту удивленно смотрел на меня, потом сам достал пачку сигарет. «Дай прикурю», — сказал он и потянулся к моей папиросе. Я дал ему прикурить. А у самого руки — дрожат, как в лихорадке. «Ну, докуривай, раз уж начал», — заметил Иван Васильевич. Я стою и ничего не понимаю. «Кури, кури, не бойся», — продолжал учитель, глядя на меня. Я затаился несколько раз. Курил и он. Потом он снова вытащил папиросы и, не глядя на меня, медленно смял пачку и швырнул ее в урну. «Больше я никогда не возьму в рот эту отраву», — сказал учитель негромко и вышел. С тех пор и Иван Васильевич, и я бросили курить. Подумать только — не отругал, не прочитал никакой «лекции»... Но самое удивительное, он не напомнил о куреве ни через месяц, ни через два. Я уже ему сам потом рассказал, что с тех пор не курил ни разу. Ну как, еще по рюмочке опрокинем?

— Хватит, наверное, Хведер. Как бы не переборщить — жара да еще на голодный желудок после дороги, — машинально бросив за окно папиросу, возразил я.

— Тогда, может быть, все-таки сходим в бор? Тут ведь совсем рядом, вышел за околицу — и сразу лес. Он у нас небольшой, как парк в городе. В свое время там ягод полно бывало и грибов. А насчет питья — ты прав, я и сам не больно любитель баловаться. Муть одна от нее...

Слушая друга, я невольно представил себе старого учителя. Он, как живой, возник перед моими глазами, и у меня было такое чувство, что я его давно знаю. Бывает же такое!

Я представлял себе старого учителя сухоньким, седым, небольшого роста старичком с лукавыми глазами, поблескивающими из-под стекол очков. Очки, как мне казалось, у него старомодные, в металлической оправе и всегда сползают на кончик носа. Говорит он нетороп-

ливо и убедительно, по классу ходит спокойно, любит смеяться и большой жизнелюб.

...По моему настоянию мы взяли с собой ружье. Правда, Хведер отговаривал, все равно, мол, сейчас еще охота запрещена, но я все-таки настоял и упрекаю себя по сей день.

Сначала мы шагали, любуясь вековыми соснами. Воздух, настоянный хвоей, дурманил голову, дышалось легко. Потом мы «навитаминились» щавелем на поляне с красивым названием «Журавлиная», а на дне большого оврага нашли большой белый гриб и решили повернуть домой.

— Ну, зачем ты взял ружье? Видишь, и дичи никакой нет,— упрекнул Хведер.

И, как на зло, тут я увидел красноголового дятла. Не успел Хведер схватить меня за руку, как я вскинул ружье и, не целясь, выстрелил. Я был удивлен, что не попал, потому что дятел все еще висел на дереве. Но через мгновение птица дернулась и опрокинулась. Однако ее когти продолжали судорожно цепляться за ствол дерева. Еще мгновение — и дятел камнем упал на землю.

— Зачем ты?— упавшим голосом спросил Хведер.

Я не знал, что ответить. Я чувствовал огромную вину перед птицей и своим другом.

Хведер больше не сказал мне ни слова. Он сразу как-то сник и стал похож на больного. Я пытался заговорить с ним, но он молча уходил от меня. Так, не обмолвившись больше ни одним словом, мы вошли в деревню. Только дома, на правах хозяина и друга, Хведер вымученно сказал:

— Педер, может, поесть хочешь или отдохнуть?

— Можно...

Хведер засуетился на кухне. Я понимал его. Он мне еще не простил убийства дятла, но в то же время чувство дружбы и долг гостеприимства были выше личной обиды.

Накрыв стол, Хведер вышел во двор, сказав, что необходимо там навести порядок. Обедал я один. Я признавал свою вину и чувствовал себя очень неловко. До этого я почему-то никогда не задумывался над жизнью лесных обитателей. Живя в городе, мне казалось, что леса по-прежнему полны дичи, зверя, как в моем детстве. Городские воробьи, голуби и вороны прижились в городе, их не пугал грохот трамваев, шум машин, людские голоса. Живя только среди этих пернатых, человек незамет-

но для себя черствеет — вот я, например, — теряет чувство прекрасного. Я уже не говорю о том, какие нравственно-эстетические потери терпит городская детвора, растущая среди бетона, камня, асфальта... В своих размышлениях я зашел так далеко, что совсем забыл о еде. Яичница стояла нетронутая, янтарем светился нераскупоренный коньяк. Только наполовину убавилось молоко в стакане. И мне невольно вспомнилась встреча с Хведером: сильный, физически здоровый парень, могущий смело один пойти на медведя, с трогательной заботливостью оберегал гнезда ласточек...

— О-о! Ты что это, Педер, ничего не ел? — вдруг услышал я сзади. — И коньяк цел! Да что же это такое? — И мой друг налил в рюмку коньяк и подал мне. — Ну-ка, дружище, выпьем. Я знаю, это я тебе испортил настроение... Ворчун я. Забудь все... — и ненароком как бы продолжил мою мысль: — Городские жители не так остро чувствуют природу. Так мне кажется. Для них лес, вода, дичь, рыба — все это дано только для удовлетворения человеческих прихотей и вроде само собой восполняется, как на скатерти-самобранке... Но ведь природа тоже существо живое и нуждается в защите. Человек стал слишком потребительски подходить к дарам природы... Извини, я опять за свое, — и Хведер залпом выпил коньяк.

«За больное место я задел его своим выстрелом. Дернуло же, черт возьми, попасть!» — ругал я себя, медленно потягивая коньяк, и вдруг спросил:

— Скажи-ка, а какой он из себя твой учитель, Иван Васильевич?

Хведер молча раскрыл альбом и показал мне фотографию старого учителя.

Вот тебе на! Бывает же! Ну точь-в-точь такой, каким я его представлял: глаза прищурены, нос прямой и довольно длинный, очки сползли с переносья. Редкие седые волосы тщательно причесаны и даже на фотографии отливают серебром. Одет в вышитую чувашским орнаментом рубашку, поверх нее — легкий пиджачок, на лацкане — орден Ленина.

— Что это ты вдруг вспомнил о нем? — спросил Путянин.

— Завидую, Хведер, я тебе и всем ребятам, которые учились у такого учителя. Я почему-то уверен, что общаясь с таким человеком, и то можно стать добрым,

мудрым и смотреть на жизнь, особенно на природу, не потребительски,— ответил я.

— Верно. Иван Васильевич учил нас понимать жизнь, отличать ее непреходящую ценность от временного благополучия, жить, заботясь о будущих поколениях. Видел, какие вокруг нашей деревни хорошие леса, чистые родники? Это все его воспитанники делают. Ведь он работал у нас около пятидесяти лет! В наших лесах ты не увидишь битых бутылок, консервных банок... Если наткнешься, знай: это набросали чужие. Детвора никогда зря ветку не сломает...

Я слушал и по-хорошему завидовал Хведеру. «Что бы мне сказал старый учитель, если бы увидел, как я просто так пристрелил безвинную и совсем ненужную мне птицу?»— подумал я, и мне стало особенно стыдно.

— Хведер, расскажи мне еще о своем учителе,— попросил я, рассматривая фотокарточку.

— Да о нем можно рассказывать часами. А если еще в деревне поспрашивать, то столько расскажут, хоть книгу пиши. Потому что каждому он отдал частицу своего доброго сердца. Ну вот хоть к слову. Спускался я как-то в школе со второго этажа и рукой шаркал по перилам. А он мне как бы между прочим и говорит, что, мол, культурные люди никогда так по лестнице не ходят... А другие учителя начинают кричать, стыдить, называют «хулиганом». Или вот еще: расходились мы однажды на летние каникулы. Он каждому ученику составил список книг, которые следует прочитать за лето. А другие дают один список на всех — и все. Иван Васильевич знал интересы каждого, кто любит приключенческие книги, кто военные, кто фантастику, кто рассказы, и не забывал потом спрашивать нас о прочитанных книгах. Любили мы его, Педер! А что ты о нем все спрашиваешь? Может, знаешь его? Он ведь пятьдесят лет проработал в школе, в газетах о нем в свое время немало писали. Приезжали перенимать его опыт из Чебоксар, Казани, Уфы... Что уж тут говорить, заместо отца он для нас всех был... Скажи-ка лучше, когда жениться будем?— неожиданно перевел разговор на другую тему Хведер.— Не много, не мало, а по двадцать восемь ведь нам стукнуло!— Путянин разговаривал со мной, проворно убирая посуду со стола. Все у него получалось ловко и хорошо.

— Нелегко нам теперь будет сотворить подобное, ой, нелегко!— рассмеялся я.— Молодые не идут за нас,

а старых мы сами обходим. Мать насеждает, мол, женись да женись. А где найти суженую — никто не подскажет. Если серьезно говорить, Хведер, то вопрос ты задал не легкий. И мы, пожалуй, его не решим здесь. Согласен?

— Верно. Вопрос этот серьезный. Вон я в прошлом году в читальном зале библиотеки познакомился было с одной чернявенькой — понравилась очень. Собрался проводить, а она мне: «Извините, я замужем...»

Вымыв посуду, Хведер придирчиво оглядел комнату и остался доволен. Даже самый взыскательный старшина не смог бы придаться. Потом взял с этажерки сложенную вчетверо карту, разложил ее на столе и начал меня знакомить с предстоящим нашим маршрутом. В целом выходило, что нам надо было пройти километров сто и все лесными дорогами. В деревнях Убамса, Айбоси, Липовка, Шатьма мы решили устроить пункты ночевки. Мне маршрут понравился, но чтобы наш поход был еще более интересным, я предложил переночевать прямо в лесу.

— Если комары не заедят, можно и в лесу, — согласился мой друг.

Приготовив к походу все необходимое, Хведер предложил мне осмотреть его огород.

Я почему-то замешкался. А Путянин захохотал:

— Пошли, пошли, а то, наверное, уже забыл, как морковь растет. Небось, брюкву от репы не отличишь. А я заодно, пока мать не пришла, полью капусту, помидоры, огурцы... Давно уже не было хорошего дождя. Ты что, не хочешь? Пошли, пошли, не ленись. К тебе в гости приеду осенью — целую кадушку соленых огурцов привезу. Вода рядом, будем носить из Булы. — Сбежав в сени, Хведер принес галоши. — Сбрасывай свои корочки. А то еще ноги поранишь босиком, ты же не привычный...

Мы вышли в огород, и я поразился его размерам. Невольно подумал: «Интересно, когда же это мы польем эти плантации? Сюда ведер сто потребуется!»

Хведер заметил мое недоумение и весело сказал:

— Ничего-ничего, глаза боятся, а руки делают!

И он оказался прав: мы не только все полили, но еще и успели прополоть две грядки моркови. За работой даже не заметили, как солнце ушло на покой и стало прохладно, с выгона пришло стадо, а тут и мать Хведера вернулась — тетя Матрюн. Ей было около шестидесяти лет. Выглядела она усталой, разговаривала неохотно,

ходила тихо, хотя и была очень приветлива, но видно, годы берут свое. К ее приходу Хведер успел приготовить ужин — поджарил картошку с грибами. Пока жарились грибы, Хведер все расхваливал предстоящий ужин, обещая, что он будет необыкновенной вкусноты, даже языки проглотите, пальчики оближете. И действительно, мой друг оказался прав. Блюдо «фирмы Путянина» оказалось необыкновенным. Даже усталая тетя Матрюн ела охотно и одобрительно отзывалась о кулинарных способностях сына.

После ужина хозяйка вышла доить корову. Первые струи молока звонко ударили по пустому ведру. Потом звуки стали глуше, а вскоре и совсем затихли.

— Сынок, води гостя! — позвала тетя Матрюн. — И кружки захвати. Угостим его парным молоком. Человек он городской, ему полезно парное молочко.

Мы подошли к смирно стоявшей корове. Женщина быстро наполнила кружки пенящимся ароматным молоком. Я залпом — одну за другой — выпил две кружки... Такого вкусного молока я никогда еще не пил в своей жизни.

Потом мы пошли в сени, где стояли две кровати, и блаженно рухнули на них. Запах сухих трав, березовых веников благоухал в сенях. Только теперь я увидел пучки целебных трав, висящие под потолком.

— Сам готовишь? — спросил я.

— Вместе с мамой. Тут у нас целый фармацевтический комбинат, — рассмеялся он. — Здесь и травы от простуды, и от нарывов, и успокаивающие... Богата природа! Надо только ее беречь и умело собирать ее дары.

Я внимательно слушал Хведера, боясь прервать его рассказ о травах.

Вдруг на сеновале закукарекал петух.

— Что, уже полночь? — удивился я.

— Да нет, что ты! В теплую погоду они иногда кукарекают безо времени. Не знаю, что за причуда! Наверное, радуются хорошей погоде, — и мой друг так чихнул, что петух от испуга перестал орать, а куры закудахтали. Хведер рассмеялся: — Вот так чихнул, всех сразу разбудил. А ты знаешь, между прочим, как надо останавливать чиханье?

— Нет...

— И этой простой вещи научил меня Иван Васильевич. Пришлось мне как-то сидеть в школе в президиуме.

Ну и напал на меня чих. Апчхи да апчхи. На меня уже посматривать стали, ребята зашущукались. Тогда Иван Васильевич, сидевший рядом, написал мне на бумажке: «Когда начинается щекотать в носу, нажми пальцем на верхнюю губу. Так меня учили разведчики еще в первую империалистическую войну». Я тут же воспользовался его советом. И чих мой разом исчез.

— Ты, Хведер, я смотрю, все больше вспоминаешь наставления Ивана Васильевича, а не отца с матерью,— подначил я друга.

— Зачем ты так говоришь?— с укоризной ответил Хведер.— Вот послушай: «Когда сидишь, не качай ногой — мать умрет», «Съешь корку горелого хлеба — волков не будешь бояться...» Ты вдумайся только, сколько народной мудрости в каждом изречении. И всему этому учила меня мама. А мать моя тебе понравилась?— неожиданно спросил он.

— Очень. Видно — добрая. Но больно уж тихая она у тебя. Может, горе какое так прибило ее?

— Не-ет, какое там еще горе!— засмеялся Хведер.— Такой уж у нее характер. Да и устает сильно. Поди ведь с утра под солнцем. Пенсию получает, а все равно ходит на работу. Вместе с людьми, говорит, хочется быть. И правильно говорит. Попробуй посиди-ка с утра до вечера дома один. Ты бы вот смог? Я уж отговаривал ее, но она ни в какую. И я решил: пусть работает. Заболит если что, так сама не пойдет. А пока есть здоровье... Эх, черт бы побрал! Через десять дней уже симек, а я так ни разу и не сходил с парнями на игрища. Вообще-то уже практически игры прекратились. Только в Чакках еще немного балуются. И посиделок не стало зимой. Оно, конечно, клуб получше посиделок, но и посиделки имеют свою прелесть: девчата песни поют старинные, чинно, так красиво... А знаешь, почему теперь их не стало?

— Наверное, из-за того, что цивилизация в деревню пришла, культура побеждает...— начал было я, но Хведер перебил меня:

— Я думаю из-за того, что теперь прясть не нужно. Все есть в магазине, стоит ли сидеть ночами за пряжей! Ну, ладно, давай спать,— и мой друг повернулся на другой бок.

Я спал без сновидений. Проснулся, а Хведера уже нет. Потягиваясь до хруста в суставах, я вышел во двор. Мой друг, веселый, бодрый, точно он и не ложился

спать, убирался во дворе — стягивал проволокой лопнувшее корыто для кормления кур.

— А где можно помыться?— спросил я.

— Не спеши. Сначала подмети немного двор, приди в себя. Вон я для тебя и метлу приготовил,— продолжая работать, хитро посмотрел на меня Хведер.— Помнишь: «Пусть и чисто в избе, а если грязно во дворе...» Потом пойдем искупаемся. Хотя через нашу Булу и курица пешком перейдет, в одном месте, слава богу, еще можно купаться. Мне там по грудь будет.

Откровенно говоря, вначале мне у друга даже и не понравилось: я в гости приехал, а меня то огород поливать, то двор подметать заставляют... И все это с шуточками да прибаутками. Я безо всякой охоты взял в руки метлу. Но незаметно для себя повеселел, появился интерес к работе. Я так тщательно прибрал двор, что Хведер остался доволен.

— Хозяйская жилка в тебе еще осталась,— похвалил он меня.— Откровенно говоря, Педер, я не думал, что ты так сможешь убраться.

Потом мы пошли на Булу и резвились в воде, как расшалившиеся мальчишки.

Вернулись домой бодрые, проголодавшиеся.

— Не сердись за метлу?— серьезно спросил друг.

— Откровенно?

— Откровенно.

— Сначала обиделся, а потом в удовольствие...

На следующий день мой друг знакомил меня с селом. Показал школу, клуб. Завел в правление колхоза, в библиотеку, потом мы пообедали в колхозной столовой. Там к нам подошел изрядно подвыпивший мужчина и предложил сброситься на троих. Желая как-то отвязаться от него, я полез было за деньгами, но Хведер не позволил:

— Ты что поить забулдыгу будешь? Лучше ребятам на конфеты отдай. А знаешь, ведь он в войну был лейтенантом, а теперь спился.— И мой друг замолчал, о чем-то задумался, потом вдруг неожиданно сказал:— А ты видел вчера, когда мы шли к лесу, какие хлеба растут у нас вдоль Булы? Что, думаешь, такие, как он, выращивают их? Надейся на них... Но ты, пожалуйста, не думай, народ у нас тут в целом хороший. Таких, как Васька Кирков, всего два-три человека... Да ладно, забудь о нем...

...Домой вернулись после обеда, увешанные сетками,

полными консервных банок, продуктов,—ведь завтра нам в дальний поход...

— Никуда бы я не пошла на вашем месте,— сказала вечером мать Хведера, вынося из чулана здоровенный кусок домашней колбасы.— Не хватает вам своего бора, надо куда-то за сотни верст тащиться. Эх, молодежь! А деревни-то, они везде деревни — дома деревянные, коровы, куры, гуси....

— Медведя тебе притащим, мам!— пошутил сын.

— А что, Хведер, в этих местах лет тридцать тому назад медведи навещали даже пасеки. Вот как. Это сейчас заяц и тот стал редкостью,— отозвалась хозяйка.

— Что верно, то верно,— подтвердил сын, продолжая укладывать продукты.— Дядя из Сундырей рассказывал мне, как в его лесную пасеку косолапый забрался однажды. Пришлось, говорит, застрелить.

Я слушал и с трудом верил рассказу хозяйки и моего друга, что здесь могли водиться медведи.

— Вот и котомки наши готовы,— сказал Хведер, крепко затягивая вещевой мешок. Встал и начал перечислять вслух, что взяли мы с собой в дорогу.— Так, еды у нас должно хватить на неделю. Котелок есть, восемь коробок спичек должно хватить, две бутылки коньяка — отлично, не забыть аптечку, топор, соль... Так что, друг, закидывай за спину вещмешок и выходи в путь-дорогу хоть сейчас...

— Я готов выйти хоть ночью,— сказал я.

— В дорогу надо выходить с солнцем,— поправил он меня.— Ложись спать, подниму рано,— предупредил Хведер.

И правда, разбудил он меня с первыми лучами солнца. Под коньком крыши, как и вчера, чивилькала ласточка. Весело! Хведер уже успел подмести двор, помочь матери по хозяйству, и тетя Матрьюн осталась специально дома, чтобы проводить нас.

Мы быстренько искупались в Буле, подкрепились. Мой друг дал мне кирзовые сапоги, вручил ружье.

— Ну,— сказал он, посмеиваясь,— посидим перед дорогой, по русскому обычаю, помолчим.

— Давай, чтобы удача была,— поддержал я.

Мы посидели с минуту молча, как принято в народе, и пошли.

...Километров на пять тянулись улицы Больших Арабузей с востока на запад. Если идешь в сторону Тархан,

то надо пройти почти все село. Вот мы и шли через всю деревню. Хведер то и дело встречал знакомых, которые, будто сговорившись, обязательно спрашивали, куда мы собрались.

Хведер почему-то предпочитал отшучиваться:

— Да решили посетить Иерусалим. Но в этот раз не молиться, а по другим делам.

— Вот здесь живет Иван Васильевич,— указал он на большой дом с узорами на наличниках. И только успел это сказать, как из ворот калитки вышла невысокая сухонькая, но еще крепкая старушка, одетая на русский лад.

— Как поживаете, Евдокия Гавриловна?— остановился Хведер.— Как здоровье! А как Иван Васильевич?

— Спасибо, Федечка,— неторопливо приближаясь к нам, ответила старушка.— Сама-то я ничего, а Иван Васильевич вот занедужил... В больнице. Ночью увезли. Сегодня уже операцию будут делать... Вот я и собралась к нему...

— Сегодня операция? Когда?— только что улыбавшееся лицо моего друга стало серьезным, глаза лихорадочно заблестели. Он, о чем-то сосредоточенно думая, испытующе посмотрел на меня.

— Вот тебе и горе...— только и выдохнул он.— И тяжелая предстоит операция?

— Прямо не знаю уж... Кузнецов-то успокаивает. Но не знаю, чем кончится. Все же операция... А вы куда собрались? Товарища твоего что-то не узнаю.

— Да вот ... решили по лесам нашим побродить, Евдокия Гавриловна. А это мой товарищ по службе. А как сейчас чувствует себя Иван Васильевич?

— Да это ты и сам должен знать, Федечка. Разве он скажет! Все шутит, говорит, семнадцатилетним парнем выйду из больницы. А по правде сказать, очень плох... Ладно уж...— Старушка смахнула слезу.— Может, и обойдется. Ну, я пойду потихоньку. А вам хорошей прогулки. Вы, молодой человек,— обратилась она уже ко мне,— пристальней посмотрите на нашу землю. Красивая здесь природа. А потом—ведь земля силы придает...—И старушка засемила дальше. Хведер проводил ее долгим, грустным взглядом. Потом крикнул вслед удалявшейся старушке:

— Евдокия Гавриловна! Желаю Ивану Васильевичу здоровья!

Мы молча шли по мосту через Булу. Видя, как мой друг переживает, я спросил его:

— Хведер, а Иван Васильевич, случайно, не родня тебе?

Он взглянул на меня удивленно:

— Нет. А с чего это ты взял?

Я промолчал.

Мы уже прошли деревни Арабузи и Чаккк, родину композитора Пазухина, как вдруг Хведер остановился.

— Слушай,— глухо сказал он, глядя на меня виновато и умоляюще,— не сердись, ладно? Давай сегодня не пойдем. Еще вчера говорил тебе — что-то недоброе чует сердце... А у него сегодня, видишь, операция. Обойдется все хорошо — завтра же тронемся. А так ведь все равно и поход мне будет не поход, буду все о нем думать. Ну, пойми меня, Педер... Пойми...

Он продолжал смотреть на меня все так же умоляюще и виновато. Мне даже неудобно стало. Не зная, что сказать ему, я просто крепко пожал ему руку и решительно повернул назад.

...Как и заверил хирург Кузнецов, операция прошла удачно. Мы с Хведером часа четыре крутились возле больницы, пока не вышла Евдокия Гавриловна. Мне показалось, что за это время она постарела на несколько лет.

— Ванюшенька-то мой будет жить...— тихо сказала старушка и радостно, совсем по-детски посмотрела вокруг.

А мы отправились в поход — только на следующий день. И я не жалел об этом.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛИ

Письмо принесли минут пять тому назад, с вечерней почтой. Василий Петрович внимательно прочитал адрес на конверте и понес его к жене на кухню, где Клавдия Егоровна, красивая, средних лет женщина, готовила ужин.

— Вот опять тебе письмо...— сухо сказал муж.

Клавдия Егоровна взглянула на конверт и узнала примелькавшийся за последнее время почерк. Ей захотелось сразу же бросить его в мусорное ведро, но переду-

мала. Она постояла немного в раздумье, смотря на искаженное страданием лицо мужа, и стала читать. Василий Петрович слушал, не сводя с жены широко раскрытых глаз. Клавдия Егоровна читала ровным, сдержанным голосом. Спокойствие жены взбесило Василия Петровича. Он нервно заходил по кухне, без необходимости трогая то кастрюлю, то чайник, то еще какую-нибудь посуду.

— Что же это происходит? Когда же кончится подобное? — загрохотал Василий Петрович так, что даже не услышал звонка.

Дверь открыла Клавдия Егоровна. К ним пришел сосед по лестничной площадке — Андреев Никандр Сергеевич, человек застенчивый, вежливо-предупредительный. Он виновато улыбнулся, увидев хозяйку в переднике.

— Кажется, я нарушил семейный уют, — сказал он и поцеловал руку Клавдии Егоровне и только после этого позволил себе пройти вперед.

Василий Петрович дочитывал последние строки письма. Заслышав шаги, он брезгливо бросил письмо на стол и пригласил гостя присесть. Андреев, почувствовав по тону хозяина, что тот прочитал что-то такое, что расстроило его, не знал, как держаться. Лицо хозяина покрывалось то белыми, то красными пятнами, и он беспрестанно барабанил пальцами по столу. Сосед подумал было уйти, но потом принял приглашение Василия Петровича и присел на край стула. Хозяин был настолько взволнован, что еще долгое время не мог спокойно слово сказать.

— Вы чем-то расстроены? — начал Никандр Сергеевич, блуждая глазами по кабинету Василия Петровича. — Может, мне сейчас уйти?

— Нет-нет, что вы, обычные житейские дела, — как мог равнодушной ответил хозяин. — Разве в наше время можно жить спокойно? Тем более нам, актерам. Вы же сами, Никандр Сергеевич, артист, и поэтому испытали все на себе...

— Да-да, — не то утвердительно, не то просто так сочувственно покачал красивой головой Андреев.

Василий Петрович не выдержал, снова взял письмо со стола дрожащими руками, зло посмотрел на него и протянул соседу.

— Почитай-ка, Никандр, вот какие письма приходят к нам, — не скрывая своего гнева, сказал он. — Прочитай

и скажи мне: может ли нормальный человек так писать? Ну, читай, читай! Клава! Клава!— крикнул Василий Петрович жене.— Я хочу, чтобы письмо прочитал Никандр Сергеевич. Можно ему прочесть? Ведь письмо адресовано тебе!

В комнату вошла Клавдия Егоровна. Она успела снять передник и была в длинном шелковом халате. Женщина поправила рукой пышную прядь волос на висках, улыбнулась гостю как всегда своей доброй улыбкой, нежно взглянула на мужа.

— Уж не злишься ли ты?— она притворно удивилась.— Зачем тратить нервы на такую ерунду? У этого человека, видно, очень много желчи, и он не знает куда ее девать. Вот и решил таким образом очиститься. Ты, я надеюсь, не веришь этим глупостям. Пусть пишет себе, пока руки не устанут, пусть не одну, а десять страниц печатает. Мне все равно!— Клавдия Егоровна говорила весело, шутя, хотела казаться совершенно спокойной, однако румянец выдавал ее волнение.

— Нет, Клава, я боюсь, что ты потеряешь покой. Я бешусь, когда вижу эти письма, и не могу представить человека, пишущего так мерзко, гадко... Как вы считаете, Никандр Сергеевич?— неожиданно обратился хозяин к гостю.

— Право, я не знаю, о чем вы... Я не знаю пока содержания письма,— ответил Андреев.

Клавдия Егоровна снова засияла своей задушевной улыбкой:

— Нашел на что нервы тратить!— она махнула рукой и ушла на кухню.

Когда хозяйка скрылась за дверью, Андреев начал читать письмо.

«Уважаемая Клавдия Егоровна,— шептали его губы,— это снова я. Простите, что я опять нарушаю ваш покой. Но вы не падайте духом, поймите, я хочу вам помочь и хочу лишь добра. Ложь — мой первый враг, я сегодня снова не выдержала. Я знаю, что вам будет тяжело, но все-таки я решилась рассказать о том, что увидела вчера вечером. Мне самой неприятно писать об этом, но думаю, что на моем месте так поступил бы любой честный человек...»

— Какова? Как пишет мерзко!— возмущался Василий Петрович, меряя широкими шагами комнату.

Никандр Сергеевич читал внимательно и кивал голо-

вой, то ли он соглашался с хозяином дома, то ли с автором, понять было трудно.

«Вы знаете, та женщина живет в одном доме со мной. А теперь вам предстоит узнать еще вот что: я видела вчера вечером, как они целовались в подъезде. Как сейчас помню, происходило это около одиннадцати часов. Видимо, ваш муж встретился с ней после репетиции. Обманывает, безжалостно обманывает он вас, уважаемая Клавдия Егоровна! Когда-то и мне пришлось познать подобный обман. Поэтому я, как никто, может быть, другой, переживаю вместе с вами и понимаю, какие душевные муки вы претерпеваете, как трудно вам сейчас.

Клавдия Егоровна! Конечно, вы можете мне и не верить. Вы вольны думать, мол, эта женщина врет, что она тайный враг вашего мужа. Но я, как ни тяжело мне, говорю вам только правду. Поймите сами, зачем бы мне писать об этом, какая корысть? С другой стороны, со временем вы все увидите своими глазами. А пока—до свидания! Ваш истинный друг. Пока я не напишу своей фамилии и имени той женщины. Придет время, и вы все узнаете. Осталось вам ждать немного. Вы — интересная женщина, умная, но слава мужа сделала вас слепой. На днях я непременно увижусь с вами».

Андреев прочитал письмо, повертел его в руках, точно желал угадать почерк, и, как Василий Петрович, брезгливо бросил его на стол, и вдруг разразился бранью:

— Возмутительно! Чудовищно!—и удивленно спросил:— Значит, Клавдия Егоровна не сердится? Правильно делает. Если она будет расстраиваться после таких анонимок, то никаких нервов не хватит. Я и сам в жизни немало получал подобных. Правда, они носили несколько иной характер. Все знают это. И все же мы в конце-концов разошлись с Раей из-за этих анонимок...

Василий Петрович внимательно слушал гостя. Порою он хотел задать какой-то вопрос, но тут же отмахивался от него, как от назойливой мухи.

В комнату снова вернулась Клавдия Егоровна. На этот раз она внимательно выслушала Никандра Сергеевича. Василий Петрович начал нервничать. Ему не нравилось, что жена слушает пространные объяснения гостя. И он начал ругать себя за то, что предложил Андрееву прочитать анонимку. «Зачем он рассказал, к чему

привели его анонимки? Так он может посеять зерно раздора между нами».

Гость отметил про себя, что Василий Петрович заметно побледнел после его слов, и подумал: «На сцене он держится лучше, а в жизни, оказывается, жидковат. Конечно, потерять такую женщину, как Клавдия Егоровна, это нелегкий удар для него. Тут не выдержит не только чувствительная натура Василия Петровича, но даже человек с железными нервами... Ну и жизнь у мужей, имеющих красивых и умных жен! Живи и страшись все время!»

И, чтобы хозяева побыстрее забыли его неуместные и неудачные рассуждения, Андреев начал всячески выкручиваться.

— Послушай-ка,— обратился он к Василию Петровичу,— письмо написано двадцать четвертого, а автор пишет, что видела тебя вчера вечером, то есть двадцать третьего. Пишет, что было около одиннадцати часов. Я же хорошо помню, что в понедельник мы вышли из театра не около одиннадцати, а уже в двенадцатом часу! Да и вышли мы вместе... Нет, таких клеветников надо под суд. Вы не хотите разыскать автора письма? Может быть, он из нашего же коллектива? Не исключено, что она полюбила тебя, вот и пишет... А может, это кто-нибудь из твоих поклонниц?— Гость хихикнул и тут же осекся.— Ведь и такое бывает в нашей жизни. Помню, однажды меня полюбила шестнадцатилетняя девушка... Письма шли одно за другим...— Андреев взглянул на Клавдию Егоровну и улыбнулся.— Только встретившись с ней, я разъяснил смехотворность ее побуждений и так успокоил ее. Наконец, видимо, поняла и перестала писать... Но вам, мне думается, все же надо постараться найти автора этих писем. Сейчас эксперты быстро могут установить, где, когда и на какой машинке напечатано. Хорошо еще, что Клавдия Егоровна неревнивая... Другая бы... Сколько же писем вы получили?

— Пятое, что ли... Кажется, пятое,— брезгливо ответила хозяйка.

Никандр Сергеевич продолжал монотонно:

— Ясно, этот человек завидует счастью других. Он готов, видя вас, идущих под руку по улице, провалиться от злости под землю. Он хочет поссорить вас, от этого, наверно, получит удовольствие. Нет-нет, Клавдия Егоровна, вы уж постарайтесь найти его...— сделал паузу

Андреев и продолжил осторожно, поглядывая попеременно на хозяев:— Если, конечно, вы... вы не верите в эти письма и считаете все это клеветой... Я это говорю как близкий друг вашей семьи...

— Нет уж, дорогой Никандр Сергеевич, увольте меня от этого,— рассмеялась Клавдия Егоровна.— У меня нет времени для этого. Лучше пойдемте, мужчины, пить кофе,— пригласила она и плавной походкой пошла в столовую.

«До чего же красива и горда!— подумал гость.— Удивительно женственна...»

— Ну, как, опасность миновала? Ведь темные тучи могли заслонить солнышко. Ладно, я кажется, вовремя исправил положение!— подмигнул Василию Петровичу Андреев. Хозяин с признательностью взглянул на гостя и повеселевшим голосом пригласил его на чашку кофе.

— Может, коньяку выпьете?— спросила Клавдия Егоровна, когда мужчины пришли в столовую.— У меня есть бутылка армянского про запас.

Никандр Сергеевич пододвинул к себе чашку, поболтал в ней ложкой и, ласково взглянув на гостеприимную хозяйку, вздохнул:

— Нет,— начал он грустно,— все-таки моя Рая никогда не была такой доброй. Вы, Клавдия Егоровна, добрейшая из добрейших женщин! Мне не повезло в семейной жизни, как Василию Петровичу! Что ж поде-лаешь, судьба... Однако я пришел к вам совсем по другому делу, а не коньяк пить,— сострил гость.— Но, если вы настаиваете, то я не против и выпить... Как, Вася, ты поддерживаешь инициативу милой хозяйки?

Василий Петрович пожал плечами:

— Я, пожалуй, тоже не против. Тем более, что сегодня у нас все равно выходной день.

И вмиг пропала куда-то печаль Андреева.

— Да, немного можно попробовать коньячку,— сказал он.— Но прежде я должен сообщить вам одну новость. Вы, конечно, знаете, что я председатель месткома?— Он смешно приподнял одну бровь и с хитринкой взглянул на хозяев.— Положением своим я никогда не пользовался. Вот и хочу хоть раз быть полезным для моих друзей, то есть для вас. Есть путевка в Сочи. Не надо платить ни копейки — она бесплатная через профсоюз. Вот и не хочется давать кому-то... Не часто к нам поступают такие путевки... Если захотите вместе поехать,

то там можно найти еще курсовку. Ведь скоро начнутся отпуска...

Андреев, удовлетворенный тем, что может сделать людям добро, взглянул на гостеприимных хозяев и умиленно расплылся в улыбке. Воцарилось неловкое молчание. Лицо гостя стало постепенно мрачнеть.

Василий Петрович не знал, как отнестись к столь интересному предложению. Он был просто растерян и раздумывал, как бы поделикатнее отказаться, не обидев Андреева, и в то же время он не знал желания жены: ведь в этом году они собирались провести отпуск в деревне, пожить вместе с ее родителями...

Клавдия Егоровна была вообще поражена. Она знала, как людям тяжело достаются путевки на юг, а тут предлагают в разгар сезона, да еще бесплатно!

— Вы почему молчите?— спросил настороженно Андреев.

— Что скажет Клава,— сказал Василий Петрович.— В этом году у нас был другой план, но я сделаю так, как хочет Клава,— и он умоляюще взглянул на жену: мол, не соглашайся.

Боясь категорическим отказом обидеть Андреева, Клавдия Егоровна начала издалека:

— Мы благодарим вас, Никандр Сергеевич, за внимание к нам. Сами понимаете, так сразу трудно ответить. Я хочу сказать, что мы тронуты вашим предложением. Однако нам надо подумать. Тем более, что у нас был другой план. Мы не отказываемся. Но мы подумаем...— И она очаровательно улыбнулась гостю.

«Умница ты у меня! Прямо — дипломат!»— обрадованно подумал хозяин дома и предложил выпить.

— Да-да, я понимаю вас. Понимаю и пикантность данного вопроса,— по-своему расценил витиеватую речь милой хозяйки Андреев.— Вы не привыкли стучать по столам, обивать пороги, просить. А Василий Петрович особенно... Что ж, если мы — друзья, так друзьями и останемся до конца. Эту заботу я тоже возьму на себя. Есть у меня кое-кто в обкоме профсоюза — помогут насчет второй путевки.

— Ты согласна?— спросил Василий Петрович.

Клавдия Егоровна покраснела.

— Наливай, женушка, коньяк! Пусть будет так, будто мы обмываем путевку!— пошутил Василий Петрович.

После второй рюмки мужчины заговорили о театраль-

ных делах. Настроение Василия Петровича заметно улучшилось, он даже забыл об анонимке. Они стали говорить о пьесах, поступивших на конкурс, о том, какая из них может занять первое место, а какие будут забракованы. За разговорами и коньяком они не заметили, как в окно заглянул багряный свет предзакатного солнца и, медленно скользя, розовой скатертью упал на стол. Андреев встал и подошел к открытому окну. Внизу, во дворе, кричали ребятишки, на длинных скамейках сидели старушки, присматривая за ними, подолгу провожали они цепким взглядом модных девушек и парней.

— Хорошо расположена твоя квартира,— сказал Андреев, глядя на далекий лесок.— В городе живешь, в то же время ежедневно можешь любоваться закатом — глядеть на солнце, опускающееся за лесом!

К окну подошла Клавдия Егоровна и встала рядом с Андреевым. Василий Петрович взглянул на них и почувствовал ревность. «Что это со мной?— мелькнуло в мозгу.— Это все письма... Но все равно не очень-то хорошо, что они стоят рядом...» От этой мысли Василий Петрович чуть не рассмеялся вслух.

Андреев был широкоплеч, низкого роста, а маленькая голова была неестественна по отношению к туловищу. Клава — стройна, как гибкая лоза, красива... Действительно, как счастлив Василий Петрович, что на своем жизненном пути встретился с Клавой!

— Через год-два леса уже здесь не будет. А квартира и вправду удобно расположена,— согласилась Клавдия Егоровна.— Пока мы на окраине города, а через несколько лет мы окажемся в самом центре.

— Да, квартира хороша!— еще раз подтвердил Андреев. Потом обернулся к Василию Петровичу:— Черт побери, ведь в этой квартире мог оказаться и другой человек!— с ехидцей в голосе проговорил он.— Помнишь, как тогда за эту квартиру в местном вспыхнули горячие споры? Люди буквально наседали на меня...

Василий Петрович покраснел до корней волос. Он хорошо знал, что все это было не так. Квартиру ему дали, учитывая его большие заслуги в театральном искусстве. Ему сейчас была непонятна суть всего этого разговора. Как все честные люди, Василий Петрович не мог сразу собраться с мыслями и дать достойный отпор наглости. Он растерянно смотрел на жену и ждал поддержки. И только тут Андреев понял, что допустил гру-

бый промах, который надо немедленно исправлять. Никандр Сергеевич подошел к Василию Петровичу и, несколько вольно хохоча, сказал:

— Неужели я так неудачно пошутил, что мой друг даже в лице изменился? Тогда извини, пожалуйста!

Василий Петрович приехал в город после окончания института в Москве. Вначале ему предоставили квартиру в деревянном двухэтажном доме. В нем он прожил два года и в прошлом году переехал в новую квартиру.

— Действительно, в местное тогда были кое-какие споры, — продолжал Андреев. — Но я ведь не вкладывал в свои слова другого смысла. Сказал, как другу... Твой авторитет, твой талант были главными козырями, конечно. И все же мы должны помогать друг другу... Да, у нас еще многие не понимают, что такое настоящая дружба. Возьмем наш коллектив: сколько у нас бывает стычек между артистами! Из-за чего? Из-за мелочей. Не могут поделить роли. Все стремятся получить главные роли, мечтают о славе, хотя у них нет на это таланта. Я начал работать, Вася, на четыре года раньше тебя, поэтому не будет ошибкой, если скажу, что кухню нашу знаю больше тебя. Послушай-ка, Вася, по-моему и анонимки написаны из нашего театра, честное слово оттуда. Не Эльвира ли это делает? Пусть Клавдия Егоровна не сердится, но по-моему это Эльвира. Все знают, как она влюблена в тебя. Разве ты этого не замечаешь? — Заметив в красивых глазах хозяйки нервный блеск, а у Василия Петровича растерянность, Андреев стал говорить вдохновенно, артистично жестикулируя руками: — Только вы, Клавдия Егоровна, не подумайте чего-либо плохого про Васю. Имея такую красивую и добрую жену, как вы, он мог бы и не заметить этого. Но я давно вижу, что Эльвира Асанова действительно любит его... Ну да ладно. На свете разные люди встречаются. Однако на вашем месте я бы все равно разыскал клеветницу. Эти письма равносильны яду...

Василий Петрович посмотрел на жену и почувствовал, что на сей раз слова гостя достигли цели — Клава изменилась в лице и начала злиться. Он уверовал, что должен что-то сказать в свою защиту.

— Никандр, мне кажется, что про Асанову ты наговорил лишнего, — сказал он твердым голосом. — Обвинять человека так жестоко, не зная ничего, — это просто бесчеловечно. Делать выводы на интуициях — опасно.

Можно низвергнуть человека в пропасть и посеять между друзьями горькие семена раздора... Это сплошная твоя фантазия!

— Погоди-ка, погоди,— прервал его Андреев, посмеиваясь.— Опять ты сердишься? Я ведь не утверждаю, что написала именно она. А Клавдия Егоровна нечего беспокоиться за тебя. Наоборот, она должна радоваться, что Эльвира полюбила тебя. По-моему, это лишь возвышает мужчину в глазах женщины. Я ведь не утверждаю, что Василий Петрович полюбил Эльвиру. Я хорошо изучил, Вася, тебя за три года совместной работы в театре и готов перед любым человеком дать голову на отсечение, что ты не обманываешь жену! И зря ты дуешься. Да и разговор сегодня что-то все вертится вокруг этой темы. И всему виной письмо. Вот видите, как яд анонимки проникает в человека! Хорошо еще, что вы здраво оцениваете создавшуюся ситуацию. Другие бы давно перессорились. А вы вот даже на курорт собираетесь ехать вместе. Насчет путевки не беспокойтесь — подойдет время, и я выложу вам ее день в день. Да, честно говоря, завидую я вам. Мне же вот в жизни не повезло... Вася, налей-ка еще по рюмочке, выпьем и забудем анонимку, сегодняшний разговор. Не пил я раньше, а вот после этого стал выпивать...

Хозяин квартиры подошел к столу и взял бутылку, которая предательски тряслась в его руке.

— Дай я налью,— подошла Клавдия Егоровна, поняв состояние мужа.— Что бы вы без нас, женщин, делали?— кокетливо спросила женщина, явно стараясь разрядить обстановку.— Даже коньяк не можете пить.

— Нет-нет, не наливайте, разве коньяк излечит горе?— отставил рюмку Андреев.— Я лучше домой пойду. Простите, я засиделся у вас...

После ухода соседа первой нарушила молчание Клавдия Егоровна:

— Я первый раз вижу его таким. Не знаю, что случилось с ним сегодня. Он совсем не похож на себя. Неужели все еще переживает разрыв с Раей? Да и ты что-то сдал. Я же сказала тебе: считай, что писем этих мы не получали.

— Ты — добра и умна, родная,— начал упавшим голосом Василий Петрович и, взяв руку жены, прижал ее к своим щекам.— Но с тех пор, как стали приходиться эти письма, я все время жду беды. Я боюсь потерять тебя,—

Василий Петрович стал целовать пальцы жены, глаза его повлажнели.

— Глупенький мой, седенький, да разве я могу уйти от тебя? Я ведь тоже не могу без тебя,— целуя седую голову мужа, как маленького, уговаривала его Клавдия Егоровна.

Обняв друг друга, они планировали свой отпуск и добрым словом поминали Андреева, его душевность, щедрость его сердца, жалели и сочувствовали одиночеству.

В это время по улице, опустив голову, шел Андреев. Выйдя от Василия Петровича, он решил зайти в ресторан и выпить. У него безо всякой причины испортилось настроение. И мысль о ресторане была неожиданной. Этот немолодой актер не был завсегдатаем ресторанов и кафе. Но сегодня с ним что-то случилось. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Тоска, как голодный червь, сверлила душу. Заказав двести граммов коньяка, Никандр Сергеевич задумался над своей жизнью... Воспоминания почему-то начались с сегодняшнего дня и с путевки, которую он предложил соседу.

Его беспокоило одно — зачем он предложил путевку Василию Петровичу? И сейчас, сидя один за столом в углу зала ресторана, думал о том же.

«Действительно, зачем я предложил ему путевку? — уже в какой раз спрашивал себя Андреев. Он не понимал своего поступка. — И вообще, зачем я частенько предлагаю свои услуги? С квартирой так же получилось. Ведь если бы не мое старание, он, может быть, и сегодня жил в старом доме! Знать бы, что он сейчас думает обо мне? Считает ли меня другом, или чувствует, что я его ненавижу? Вероятней всего, что не чувствует. А то бы зачем коньяком угощал? Потом, такие люди, «одаренные богом», дальше своего носа не видят. Да и сам я затеял опасную игру. На людях, правда, я никогда не болтал о нем лишнего. В глаза и за глаза я всегда хвалю его. При встречах улыбаюсь, на собраниях в пример другим ставлю, чем наживаю ему врагов. Люди не любят, когда их противопоставляют, никогда этого не прощают. Почему я так поступаю? Почему играю тайную роль?»

— Пожалуйста, коньяк, лимон! — перебил бойкий голос официанта размышления Андреева.

— Спасибо, — машинально ответил актер и тут же

спросил себя: «На чем это я остановился? Да, почему я так веду себя? Почему? Вспомнил. Конечно, вспомнил! Отец учил меня всегда держать сторону сильного. Правда, он из другого поколения, имел иное воспитание. Но в его наставлениях я и сегодня вижу много поучительного.

Отец очень любил повторять, наставляя:

«Всегда надо держать сторону сильного, если даже справедливость на стороне слабого. Таков закон жизни. Совесть, чистота души и другие подобные слова только выдумки умников. А в жизни все наоборот. Люди, кричащие эти красивые слова, сами никогда не имели ни грамма совести, а выдумали, чтобы дурманить голову дуракам!»

Вот так учил меня родной отец с малых лет и подтверждал это примерами. Но не пришлось ему долго жить со своей философией — судьба его привела за решетку. Прimitивно работал отец, прimitивно, грубо... Мы — другое поколение, мы думаем немного иначе и тоньше. Конечно, мне нельзя открыто ссориться с Васей, ведь он готовится стать режиссером, будет ставить спектакли, вот тогда мы и посмотрим, кому, какую роль он даст. Я знаю его силу. Его любят и главный режиссер, и артисты уважают его, а после спектаклей зрители забрасывают цветами. Тебе бы, Андреев, хоть один цветок кинули! Время сейчас в театре сложное. Три года уже, как оно спорное. До приезда Петровых, три года тому назад, не было никаких споров. Тогда никто не стоял поперек моего пути. Лучшие роли получал я... Приехал этот Петров — и пошло все вверх тормашками».

Андреев налил в рюмку коньяк и выпил залпом. Обожгло грудь, на миг захватило дух, но тут же стало легче, чуть закружилась голова. Мысли стали яснее, он вспоминал малейшие детали, даже интонацию голоса Петрова, когда он говорил: «Наш театр должен вырваться из цепких лап провинциализма. Наши, даже ведущие актеры (это он сделал прямой намек на меня), мало работают над повышением актерского мастерства, потрафляют запросам зрителей...»

Голос, глаза, какие глаза у него были тогда! Крутанул он тогда всех нас... Вон какой славы достиг! Андреев налил себе еще коньяку, выпил и весь передернулся. Как все малопьющие люди, он хмелел быстро, и его возбужденный мозг обостренно воспринимал события, хотя они и были в прошлом. Упершись пьяным взглядом в стол,

он подпер руками голову, и снова одна мысль стала догонять другую.

«Я у Петровых упомянул о Васиной славе, его популярности. Отмолчались, гады! Знать бы, что он думает насчет этого? Или Вася вообще равнодушен к своей славе? Нет, это чепуха. Думает он об этом или нет, но его-то слава все равно растет. Все говорят, что он талантлив. А главный режиссер просто в восторге от него. Почти все ведущие роли отдает ему... Даже сам Крымов откатился на второй план. А если подумать, то кто такой Петров? Разве я хуже его играл роль Ехрема Корсакова? Или Павла Чугунова? А теперь Чугунова играет Петров, а не я, потому что, видите ли, он оказался талантливее меня! Более глубоко трактует образ Чугунова! Ишь ты — «глубоко». Верно отец говорил: если хочешь в жизни подняться выше, то одной правдой ничего не добьешься, с первой же ступеньки сойдешь. Зря, зря я жалел иногда товарищей, надо было валить их и подниматься по их телам вверх — до вершины славы! А потом бы строил из себя благодетеля, добряка, сочувствовал... И никто бы уж тогда не смел критиковать меня. Меня бы оберегали те, по чьим телам я поднялся. Эх, не послушал отца. Верные он давал советы!.. А разве сейчас Петров к вершине славы взбирается не по нашим телам? Разве не за счет меня и Крымова? — Опьяненный мозг Андреева путал факты, злоба и зависть дурманили и без того желчную натуру его. Он подбирал факты, самые нелепые, и представлял их себе так, как хотелось ему. — Ишь, нашелся человек большой души! А сам два года работал в Московском театре и зачем-то оттуда ушел? Говорит, родина потянула, захотелось чувашскому народу послужить, который сделал меня актером! Красиво сказано, но врет ведь. Да на кой ляд мне эти Чебоксары, хоть я и вырос здесь? Дали бы мне хорошее место в Москве, Ереване, Киеве, Ижевске — да я бы и дня здесь не остался... Да, Васенька, ты не такой простой, каким хочешь выглядеть. Вот и сегодня с письмом делал вид невозмутимого человека, такого семьянина. Знаю я вас! Ну что такое «слава»? — Андреев поставил перед собой перечницу: «Скажи, Вася, что такое слава? Молчишь! А слава она, если мы не хотим обманывать друг друга, это все! Слава — счастье, слава — любовь, слава — деньги! Что человеку нужно в жизни? Деньги! А все это приходит через славу! Но что

такое для меня деньги? Правда, отец говорил мне, что деньги это все! Однако старик думал примитивно. Я же никогда не ставлю деньги на первый план. Деньги — производное от славы. Будет слава — будут деньги. Эх, сла-ва!» — с придыханием, как живому существу, произнес Андреев и допил оставшийся коньяк, потом посмотрел по сторонам в надежде увидеть официанта.

Рассчитавшись, Андреев покинул ресторан. Он думал коньяком поднять настроение, но из этого ничего не вышло. Если бы он любил выпить, то, может быть, еще и отвел душу. А так только разбередил себя...

Когда Никандр Сергеевич вышел на улицу, то город уже весь сверкал от огней, а людей на улице стало больше, чем днем. Группы парней, девушек шли, громко разговаривая, весело хохоча. Слушая их, можно было безошибочно определить, кто они. Тут шли студенты университета, педагогического института, вечерники, заочники... Их веселье раздражало Андреева, и он с трудом сдерживал себя, чтобы не вмешаться в их разговор и не сказать им: «Вы все наивны! Мир не так красив, как вы думаете, тем более он несправедлив! Уж поверьте мне, человеку, столько лет жизни отдавшему сцене. Интересно, что бы они стали делать, если бы я сказал, что я — Петров? Да, у них сейчас прекрасная пора — все впереди, и верят они в бессмертье свое, и что будут жить по сто лет, и что станут знаменитыми, прославленными!...»

Так, в раздумьях, Андреев дошел до нового кино-театра, где демонстрировался фильм «Железная маска». И здесь он невольно вспомнил, как совсем недавно, всего два года назад, он еще смотрел этот фильм со своей женой и впервые увидел там Клавдию Егоровну. И с тех пор у него помутнел разум, с новой силой разыгралась зависть — почему у других такие красивые жены?

И снова Андреев почувствовал ущемленность своего самолюбия. Душечка Петров Вася тогда уже всерьез и накрепко заявил о своем незаурядном таланте. В театре с этим свыклись, и даже он, Андреев, перетерпел славу «восходящей звезды». Но, оказывается-то, Вася везуч не только на сцене, а и в семейной жизни. Вон как посматривают люди на его жену! Природа создала ее только для любования: и походка, и фигура, и улыбка, и губы — все совершенно. А она принадлежит счастливчику Петрову. И все равно Андреев во все глаза смотрел на жену Петрова и с завистью думал: «Почему на свете царит

такая несправедливость? Почему в жизни одному все, а другому ничего? Ну что нашла эта женщина в Петрове? Средний рост, нос широкий, приплюснутый, как у боксеров, волосы жесткие и всегда непослушно торчат в разные стороны, губы толстые, как у негра... Только глаза необыкновенной живости... А так разве можно Петрова сравнить с ним, Андреевым? Да и почему Петрову встретилась Клавдия Егоровна, а не моя Рая?»

С того дня Андреев потерял покой. Он чувствовал, как начинала давить зависть к Петрову с новой силой. Если за два года он как-то смирился с талантом Василия Петровича, с признанием его славы, то теперь Андреев не мог побороть своих желчных устремлений. Он подолгу стоял перед зеркалом и рассматривал себя: ростом он выше Петрова, волосы с сединой, слегка волнисты, черты лица правильны, даже красивы, правда, глаза рыжеваты и с холодным блеском...

Конечно же, он по всем статьям выигрывает у Петрова. И тогда Никандр Сергеевич решил развестись сначала с женой. Так как причин к разводу не было, то он надумал посылать себе анонимные письма, в которых клеветал на жену. Он рассудил просто, вспомнив наставления отца и одного «бога»: «Для достижения цели все средства хороши!» и «Победителей не судят!».

Победителем собирался быть он сам, а в качестве средства Андреев выбрал анонимку на себя. Он так искусно сыграл эту роль, что вскоре все сослуживцы, знакомые стали жалеть «подло обманутого» мужа и посоветовали ему развестись. Раз мир советует, Андреев, как тонкая артистическая натура, не мог ему перечить. Вот он уже год живет бобылем и ждет своего счастья.

Однако, выполнив первый этап своего плана, Никандр Сергеевич приступил ко второму — стал посылать анонимки в адрес Петровых. Уверовав в могучую силу анонимок, Андреев заранее торжествовал победу. Даже то, что при нем Петровы вели себя сдержанно, хотя Вася временами метал громы и молнии, дало повод думать о глубинных силах анонимки. «Конечно, Клавдия умна, вон как, бестия, свободно и гордо вела себя, будто не анонимку получила, а минимум апрельскую шутку. Если она выдержит до конца, то этот гениальный лопух сам подаст на развод, скажет: «Мои нравственные принципы не позволяют мне жить с тобой под одной крышей». Ну и пусть, какая мне разница, кто подаст на развод!»—

так думал он, приближаясь к своему дому и злорадствуя, что его анонимка все же возымела действие.

«Интересно, чем они сейчас занимаются?— подумал Андреев.— Тихо-мирно беседуют или устроили трамтарарам друг другу? Нет, они не могут сейчас тихо-мирно разговаривать. Ведь Василий Петрович был здорово взволнован, да и жена лишь передо мной держала себя в руках. Делала вид, будто ничего не случилось. А я сам сыграл свою роль неплохо!— Он засмеялся в душе, одновременно чувствуя, что к нему возвращается бодрое настроение.— А с путевкой я, видно, поторопился.— И тут же отметил:— Нет, ничего лишнего не совершил, это лишь тактика борьбы. Пусть я для них останусь добрым, душевным человеком. Когда они поверят в это, я сделаю все, что мне надо. Я не буду спокоен до тех пор, пока они счастливы!»— произнес Андреев.

Придя домой, Никандр Сергеевич быстренько переоделся в пижаму и лихорадочно стал сочинять новое письмо. Хоть по дороге он и успокаивал себя, что его последняя анонимка все же внесет раздор в семью Петровых, но, поразмыслив, сейчас решил еще раз напомнить Клавдии Егоровне о «похождениях» ее мужа. Стоило ему вспомнить равнодушное лицо Клавдии Егоровны, как злоба начинала закипать где-то в глубине его души, портилось настроение, нападала меланхолия, Андреев чувствовал, что в таком состоянии он не может написать «доказательное письмо». Аргументы будут слишком хлупкими, и Клавдия Егоровна снова ничему не поверит. Легко сказать, возьми себя в руки. Но как? Тоска гложет от одиночества, зависть туманит мозг... Черт знает, какой-то замкнутый круг! И все же, на миг загнав злобу внутрь, Андреев старательно вывел:

«Дорогая Клавдия Егоровна!..» И снова он увидел ее улыбающееся спокойное лицо. «Это прямо какое-то наваждение! Зачем я зашел к ним? Но ничего. Теперь я такие «фактики» подберу, что ты тот же час потребуешь развода».

Андреев потер лоб рукой и продолжил:

«Это вас беспокоит ваш семейный друг. Я знала Василия Петровича как человека порядочного, серьезного, но то, что я вижу в последнее время...»— Андреев вдруг задумался: «А что я вижу в последнее время?»— Опять тоска и злоба обожгли мозг. Снова он почувствовал себя заброшенным, незаслуженно обиженным судьбой.

«Я ж так никогда не напишу! — вскочил он со стула и нервно заходил по пустой квартире. — Ага, не только мне переживать и не знать сна, но и вы сейчас, наверно, как кошка с собакой грызетесь!» Андреев представил Петрова спящим на балконе на раскладушке, а Клавдию Егоровну в спальне за закрытыми дверями.

Ничего-ничего, анонимка тем и сильна, что ее пишет «друг»...

Так Никандр Сергеевич метался по квартире до полуночи. Принимался несколько раз за письмо, снова вскакивал, рисовал себе, как будут портить друг другу жизнь его соседи.

Уже давно спал весь город, только зловещая фигура Андреева плоской тенью металась по квартире в поисках компрометирующего факта.

СНЕГ

Уже какой раз я вижу этого человека возле нашего общежития! Почти каждый день он стоит, прислонившись к углу дома.

Я с Аркадием живу в одной комнате. Поэтому мы всегда после смены возвращаемся в общежитие вместе.

У меня почему-то такое чувство, что этот пожилой человек в старом полушубке дожидается нас. Мне даже однажды показалось, что он хочет подойти к нам. Небольшие глаза под рыжими бровями смотрят настороженно и просительно. От этого мне становится не по себе. Но как ни странно, а он ни разу еще не подошел к нам, будто его кто-то удерживал. Обычно мы проходим в общежитие, а человек в грязно-белом полушубке остается один...

Мне очень хотелось поговорить об этом странном человеке с Аркадием. Однако я то забывал, то считал неудобным заводить разговор о случайном встречном. Мало ли таких встреч бывает в жизни. Да к тому же Аркадий, по-моему, словно не замечает этого человека. Мой друг в эти дни был сильно занят — готовился к экзаменам в институт. Я заметил, что Аркадий стал в последние дни нервным, раздражительным, ляжет спать — и начинает ворочаться, курить папиросу за папиросой прежде чем уснет. В такие минуты мой друг не замечает, как пеплом

и окурками бывает усыпан пол. Он даже не слышит, как из-за этого уже который день ворчит уборщица.

Вот и вчера, как обычно, мы вышли с завода вместе с Аркадием. На улице было тепло, шел снег, похожий на тополиный пух. Крупные хлопья ромашковыми лепестками падали на лицо, одежду и тут же таяли... Было так тихо и хорошо в этот поздний час, что я невольно стал прислушиваться к скрипу снега под ногами и незаметно поглядывал на Аркадия. А он шел молча, опустив голову, лицо задумчивое. Я тоже не пытаюсь завести разговор. Я не виноват, что у него на носу сессия... Да у меня самого есть о чем думать. Я иду и шепчу стихи Сергея Есенина.

Так молча мы миновали трамвайную линию, мокрой спиной змеившуюся вдаль. Отсюда до нашего общежития просто рукой подать. Сквозь густой снегопад уже различается силуэт строящегося возле нас пятиэтажного здания, а за ним блестит огнями наш дом.

Пройдя строительную площадку, я взглянул на левый угол нашего общежития. Человек в полушубке снова стоял на своем месте. Мне почему-то стало не по себе, и я крикнул своему другу, который далеко опередил меня:

— Аркадий!..

Аркадий повернулся на мой крик. И тут я невольно вздрогнул: лицо моего друга было перекошено не то от злости, не то от страха. Он остановился и прошептал побелевшими губами:

— Я не могу... Я не пойду туда...

Я сразу догадался, о ком он говорит.

— На самом деле, почему он преследует нас? И что ему от нас нужно? Ты знаешь, Аркадий, он уже пятый день здесь торчит!— бурно выражал я свой протест, желая хоть чем-то подбодрить своего друга.

— Не пятый, а шестой! Пошли...— резко сказал мой друг и повернул обратно. Пошел за ним и я. Через несколько шагов, еще не понимая, что творится с моим всегда уравновешенным другом, я хотел оглянуться, но Аркадий вдруг прикрикнул на меня:

— Не оглядывайся!

Я пожал плечами, все больше поражаясь поведению Аркадия и послушно выполнил его приказ.

...Мы зашли в маленькое кафе на окраине города. Аркадий заказал вино. Такого за ним раньше не замеча-

лось. Когда принесли напиток и мы выпили по рюмке, мой друг неожиданно сказал:

— Понимаешь, я этого человека знаю,— отодвинул графин в сторону, опустил голову на руки и затрясся, как в ознобе.— Семь лет тому назад этот человек был директором крупного магазина... Он был тогда совсем не такой: преуспевал в жизни, одевался модно, казался моложе своих лет... Жил он тогда на площади Кирова. Имел небольшую семью: жену, сына... Тогда его сын учился еще в девятом классе.

Аркадий выпрямился, вытер платком сухие, но покрасневшие глаза и, стуча нервно костяшками пальцев по столу, монотонно, как больной человек, продолжил свой невеселый рассказ:

...— Он очень любил сына, выполнял все его желания. Может быть, из-за этого и втянулся в преступные дела... Одним словом, стал он государственное добро прикарманивать... А его квартира стала чем-то вроде штаба мошенников в его темных махинациях. Каждый раз, когда к нему приходили четверо его сообщников, большая сумма государственных денег переходила в карманы этих живоглобов. А семья его тоже жила припеваючи, ни в чем себе не отказывая. Я говорил, что сын у него был девятиклассник. Он уже стал кое-что понимать и не один раз просил отца не водить в дом подозрительных людей, да частенько и спрашивал, на какие деньги так можно гулять. Отец на это только отмахивался и весело говорил: «Жизнь, сынок, дается человеку только один раз, и надо прожить ее так, чтобы потом не жалко было! И вообще, сынок, что ты понимаешь в жизни? Вон твоя мама и та молчит, а ты?» Потом он сердился, начинал кричать, выпивал две-три рюмки коньяка и уходил из дома. Мать с заплаканными глазами молча смотрела ему вслед.

Мальчишка все-таки узнал про неблагоприятные дела отца и однажды не стерпел — пошел и заявил куда-то... Может быть, и пример Павлика Морозова помог ему...

Отца посадили и всех его пособников тоже убрали...

Аркадий повертел в руках пустую рюмку и поставил ее к графину.

— Будешь пить? Пей,— предложил он мне. Губы его дрожали.

В углу на маленькой эстраде заиграл оркестр. Мелодия, раньше нравившаяся мне, сейчас раздражала...

— Когда он вернулся?— спросил я.

— Не знаю. Возможно, неделю тому назад... Я хорошо знаю его сына, жену. Ты можешь представить, что творилось в душе его сына, когда отца посадили? А через год мать привела в дом другого мужчину... Сын не мог дальше оставаться. После десятилетки он пошел работать, перешел в общежитие. Вот так получилось. Семья распалась. Полностью... И кто же в этом виноват: отец? сын?

Я ничего не мог на это ответить. Что во всем виноват отец, это было ясно. Но виновен ли сын? Он же честно поступил! И в то же время — донос на своего отца... Неужели нельзя было как-нибудь по-другому?

Аркадий, видно, понял, о чем я думаю, горько усмехнулся, глаза его зло блеснули.

— Только слабодушные могут усомниться в том, что сын был не прав, — отрезал он. — Если человек спасает другого, а сам гибнет, это считается подвигом. А такой поступок ради правды, ради разоблачения темных дел своего родного отца разве меньший подвиг? Не хочешь ли ты сказать, что это похоже на отцепопродавство?

Я не знал, что ответить. Но убежденность Аркадия в правоте своего поступка подкупила меня. Я не думал, что у моего друга такой твердый характер.

Официант принес нам жареного цыпленка, но теперь уже ни я, ни Аркадий не хотели есть. В окно было хорошо видно, как все еще идет снег. На эстраду вышла пожилая, довольно полная артистка в черном шелковом платье и запела о любви. И песня, и ее не по возрасту кокетливые жесты раздражали меня. И вообще вся эта сытая, кричащая и веселящаяся толпа бесила...

Мы расплатились и вышли на улицу. Нежный, подобный холодному пуху снег сразу поднял настроение, выветрил из нас табачный дым, винные и кухонные запахи этого увеселительного заведения. Как было хорошо на свежем воздухе! Мне стало жалко всех тех, кто увеселял сейчас свой дух и тело там, в душном и шумном помещении. Это была визитная карточка субботы.

Недалеко просвистел паровоз. Его одинокий голос в ночи наполнил мою душу невыносимой тоской.

Мы вернулись в общежитие поздно. Молча и долго бродили по заснеженным улицам, боясь словом нарушить тишину, теперь уже благотворно действующую на

нас. Мне показалось, что возле нашего дома все еще стоял облепленный снегом человек в полушубке.

На следующий день, в воскресенье, Аркадий остался за столом, заваленным бумагами, книгами, а я, взяв большую хозяйственную сумку, отправился исследовать продовольственный магазин: впереди была целая неделя, и в мои обязанности входила предварительная заготовка харчей.

Человека в полушубке я встретил возле универмага. И на этот раз он нисколько не испугался меня. Универмаг был закрыт, и наш знакомый рассматривал витрины. Я впервые увидел его лицо так близко. Оно было землистого цвета, в глубоких морщинах. Глаза — страдальческие. Я подошел к нему, взял его за руку и, не говоря ни слова, повел его за собой. Он не сопротивлялся.

Мы поднялись на третий этаж. По ступеням он шагал тяжело, часто, прерывисто дышал. Правой рукой он все время держался за перила. За всю дорогу мы не обмолвились ни словом.

Я открыл дверь в комнату, как мне казалось, тихо. Аркадий, сидевший к нам спиной, услышал и обернулся. Руки его бессильно опустились. Толстая книга упала на колени и соскользнула на пол. Я почувствовал, что я сейчас здесь лишний, и вышел из комнаты...

Когда я возвратился в комнату, у обоих лица были мокрые от слез. «В этих слезах — и мольба о прощении, и прощение, и раскаяние...» — почему-то подумалось мне.

Сегодня я думаю о том, как старый человек в полушубке целую неделю стоял на углу нашего дома, как целую неделю не спал ночами мой друг. Какие душевные муки перенесли эти два человека, прежде чем снова стать родными.

А на улице по-прежнему шел белый пушистый снег.

ДУША ОХОТНИКА

Сегодня я получил от отца письмо. Он написал мне, какой хороший урожай собирают они в этом году, подробно перечислил, кто на ком женился, кто поставил новый дом, а в конце письма сообщил, что умер дед Евдоким, лучший охотник в округе, очень добрый и чуткий человек. Эта весть поразила меня в самое сердце. Почему-то я всегда думал, что этому сухому, быстрому ста-

рику не будет износа, хотя ему было под восемьдесят. А если сейчас вспомнить о последних годах его жизни, то он, пожалуй, уже сдавал давно...

...Поздней осенью, года два тому назад, я проводил свой отпуск в родной деревне. После первого же снега я взял старую отцовскую двустволку и рано утром ушел далеко за деревню. Там на озимых в эту пору обычно много встречается зайцев, а по первому снегу их довольно легко можно подстрелить. Ночью заяц жирует на озимых, а на дневку устраивается в какую-нибудь яму на снегу. Иди за ним по свежему следу, и он сам, почуяв человека, выскочит перед тобой.

Недалеко от мельницы я напал, как говорят охотники, на «горячий» след и, держа ружье наготове, двинулся вперед. «Не должен далеко уйти косой»,— думаю. А он, как будто знал, что о нем думаю, смотрю — тут как тут. Я выстрелил и побежал к покотившемуся кубарем беляку. От радости за свой успех стал топтаться около зайца, посмотрел вокруг на снежную пустыню, пожалел, что никто не видел моего ловкого выстрела, потом приладил добычу к поясу и пошел дальше, к Шигалинскому оврагу. По пути подстрелил еще одного зайца и, довольный удачной охотой, решил повернуть к дому. И тут вдруг где-то совсем рядом прогремел выстрел, потом второй! Смотрю, неподалеку стоит невысокий, сухощавый пожилой охотник.

«Кто же это?»— подумал я, поправил на поясе подстреленных зайцев и пошел навстречу незнакомцу. Прошел шагов тридцать и был немало удивлен, когда в стрелявшем узнал деда Евдокима. Подумать только! Ему же больше семидесяти, а он, как молодой, на охоте! Дед Евдоким на меня и не глядит, левой рукой держит ружье, а правой шарит по снегу зачем-то. Я подошел ближе. Охотник одет в старый, давно мне знакомый черный овчинный полушубок, шапка тоже древняя, из собачьего меха. Седая борода заиндевела...

— Дед Евдоким!— крикнул я, стараясь скрыть свое удивление.

Он медленно выпрямился, прищурился, пристально посмотрел на меня и ничего не сказал. Но я заметил, как он тайком, краем глаза взглянул на мою добычу.

— Да ты меня, дед, не признал, что ли?— опять спросил я.

— Нет, что-то не узнаю...— буркнул старый охотник.



— Да Егор я, сын Трофима!

— А-а-а, значит, это ты?! А я слышал, что приехал, слышал... Поохотиться надумал?

— Вроде бы и так, а заодно и прогуляюсь немного... А ты, дед, что же без добычи?— бойко тараторил я, небрежно подбивая руками длинные уши беляков.

Дед отвел взгляд от моих трофеев, снова посмотрел на то место, где недавно прятался заяц, и сказал грустно:

— Не попал, далековато оказалось. А так-то они от меня не уходили... Нет, не уходили...

— Ну что ж! Один ушел, попадется другой!— попытался я успокоить старика.— Домой-то ведь еще не идешь?

— Так-то оно так,— чуть помедлив, сказал старый охотник.— Может, и вправду еще походить? Хотя из дома я вышел уже давненько...

— Тогда пошли, дедушка, вместе... Зайцев здесь только успевай стрелять!— пошутил я.

— Может быть, все может быть,— отозвался невесело дед Евдоким.

Я решил повести старика в сторону деревни Синьялы, где, я слышал, довольно много было зайцев еще с осени.

Дед Евдоким шел медленно, шаркал ногами и время от времени что-то бормотал себе под нос. Чтобы как-то начать разговор, я спросил:

— Наверно, много, дедушка, за всю жизнь подстрелили зайцев?

— Не считал... Да раньше мы их не стреляли, ружей не было. Больше петлей ловили. А вот волков сколько — помню.— Старый охотник ожил:— Девяносто два волка, а медведей — тридцать, рысей, кажется, восемь. А знаешь, мне все хотелось волков до ста дотянуть, да, видно, теперь уже не суждено. Зайцев, лисиц, белок — не считал, да и счета, пожалуй, не хватит.

Я вспомнил, как мы, мальчишки, ходили на охоту со взрослыми, а больше всего любили, когда нас брал с собой дед Евдоким. Мы, радостные, шумной ватагой шагали к лесу. Охотники идут впереди, а мы за ними. Каждому из нас очень хочется понести чье-нибудь настоящее ружье, но такое счастье не каждому достается... А самый счастливый был тот, кому сам дед Евдоким доверял нести свое ружье. Потому что в деревне ходила молва, будто в мире нет ружья более меткого, чем у нашего деда.

В лесу нас расставляли по просекам, охотники занимали свои места. И по сигналу старшего мы начинали поднимать такой гвалт, что самим становилось страшно. Мы кричали на разные голоса, свистели, стучали палками о деревья. Так мы шли в сторону лесной просеки. И тут уж нам никак нельзя было зевать — дальше установленных знаков не шли, а там притаились рядом охотники. И тут начинали греметь ружья: бах! бах-х! Выждав паузу, мы, сломя голову, бежали к охотникам. Самый меткий был дед Евдоким. Низенький, проворный, он часто ругал губастого Якова — охотника здорового, но медлительного.

— С трех шагов не можешь попасть в зверя! И как тебе только не стыдно таскаться с ружьем!— выговаривал незлобиво дед и небрежно бросал на снег двух-трех зайцев. Все смотрят на него с уважением, слушаются его

во всем, всегда выполняют любые распоряжения старика.

Так было лет пятнадцать-двадцать тому назад...

«А как, интересно, сейчас дела у старого охотника?— думал я, шагая возле деда Евдокима.— Ведь, вон, несмотря на свой преклонный возраст, ему не сидится дома: с первым снегом вышел в поле. Кто знает, о чем он сейчас думает, что творится в его душе...»

Мои мысли неожиданно прервал дед Евдоким. Он присел на корточки и сказал негромко:

— Тут, кажись, только что прошел косой.— Потом еще более внимательно присмотрелся и уже твердо добавил:— Точно, след свежий!.. Ну, этого бы не упустить...

Он привычным движением снял с плеча ружье и пошел по следу, я — рядом. След петлял-петлял и вывел нас к Шигалинскому оврагу. Старый охотник шел так легко, что трудно было поверить, что ему за семьдесят. Он раздумялся, глаза засветились живым блеском. Мы прошли еще немного, и тут шагах в тридцати выскочил из-за сухой травы здоровенный русак.

— Стреляй!— крикнул я деду Евдокиму.

Старый охотник тут же выстрелил, потом еще раз.

— Попал?— спросил он неуверенно.

Я посмотрел на деда Евдокима и понял, какие чувства, какая тоска, душевная боль и надежда были в его вопросе.

— Конечно, попал!— крикнул я.— Конечно!— и побежал вперед.

Зачем я так поступил, и сам не могу понять. Но, подбежав к бурьяну, остановился, в один миг снял с пояса одного зайца и, размахивая им, медленно пошел обратно.

Дед Евдоким, веселый, с сияющим лицом, торопливо шагал мне навстречу. Ноги в подшитых валенках теперь не шаркали, глаза блестели.

— Вот,— я протянул ему зайца. Старик, улыбаясь, взял косого, и тут лицо его посуровело, сделалось каменным...

Минуту он стоял молча, разглядывал зайца так, точно видел трофей впервые. Потом его седая борода стала подрагивать, а глаза часто-часто замигали... Он понял все... И вдруг дед Евдоким рассмеялся, как ребенок.

— Теплый еще! Хитрый косой, остыть не успел,— говорил он весело, но голос его при этом немного дро-

жал. Старый охотник помял зайцу шею, ноги, брюхо, затем взял за уши и поднял вверх.— Поймал-таки я тебя! Поймал... Эх, старуха обрадуется сегодня! А говорила, что мне не след уже ходить с ружьишком....

Он опять печально и почему-то виновато взглянул на меня. И я заметил в уголках его глаз слезинки.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ

Ксения Гавриловна Мишина, женщина лет пятидесяти, снискала к себе любовь жильцов всего дома своей добротой. Ее знают все: девушки и парни, девочки и мальчики, мужчины и женщины и совсем пожилые люди. К этой не очень многословной женщине с грустными голубыми глазами приходят за советом, с ней делятся сокровенными тайнами, просят помощи... И для всех у Ксении Гавриловны найдется доброе слово, совет, и, если нужно, она готова оказать и помощь. И все это Ксения Гавриловна делает от души, с большим тактом. Для детишек у нее всегда приготовлены конфеты или орехи, или какая-нибудь игрушка. Девушкам она сошьет что-либо из нарядов, помирит с возлюбленным...

Несмотря на невысокий рост и худобу и не совсем здоровый цвет лица, Ксения Гавриловна работала горячо, бодро и легко ходила по двору и ни разу не брала «больничного». Люди так привыкли к ее непоседливому характеру, энергии и гостеприимству, что случись с ней беда, никто бы и не поверил.

Вот и сегодня Ксения Гавриловна вернулась с работы, только что успела сварить ужин и покушать, как вбежала к ней дочь соседки по этажу — Ирочка Ильичева. Ксения Гавриловна мыла посуду на кухне. Заметив, как сверкают коричневые зрачки Ирочки, как играет на ее щеках румянец, хозяйка улыбнулась и шутливо проговорила:

— Что, Ирочка, уж не замуж ли собралась? Ты сегодня похожа на засватанную невесту! Я и не примечала, что ты такая красивая! Присядь, милая, я сейчас.

Ирочка покраснела, не нашла, что сказать. Затем села на стул и прикрыла предательски пылающее лицо ладонями. Девушка слышала, как хозяйка торопливо убирала посуду. Услышав шаги Ксении Гавриловны, Ира подняла голову.

— Тетя Ксения,— начала она волнуясь.— Ах, тетя Ксения,— все больше теряясь и краснея, продолжала девушка, не в силах поднять на хозяйку счастливые глаза.— Вы не сможете сшить мне до завтра, до обеда...

Взгляд Ксении Гавриловны упал на сверток, который держала в руках девушка.

— Что же это тебе так срочно надо сшить?— спросила она, все так же улыбаясь.

— Сами ведь сказали... Ну платье, свадебное платье...

Ксения Гавриловна неторопливо сняла передник и по-матерински нежно посмотрела на соседку. Лицо ее, тронутое морщинами, просветлело, всегда печальные глаза заулыбались. Она поправила на голове приколки.

— Ирочка, ты правду говоришь или шутишь?— спросила она, глядя на девушку, которой исполнилось восемнадцать лет. Хозяйка внимательно еще раз оглядела Иру и, убедившись, что все это она говорит всерьез, даже растерялась, точно замуж собралась выходить ее дочь.

Казалось бы, в этом поступке ничего не было: девушке восемнадцать лет, красива, правда, фигуркой больше похожа на подростка. И все же эта новость почему-то глубоко взволновала Ксению Гавриловну. Ирочку она знает со дня ее рождения. Может быть, потому так близко все и восприняла. Да, как быстро летит время! Ведь совсем недавно шила ей Ксения Гавриловна наряды для кукол, а теперь вот надо шить настоящее свадебное платье...

А Ирочка сидит, как на иголках. И даже глаз не осмелится поднять. То ли боится что вдруг тетя Ксения ей откажет, мол, не успею к завтрашнему дню или еще чего...

Девушка и сама понимает, что пришла с невыполненной просьбой. Но к этому ее принудили обстоятельства— в ателье неожиданно заболела мастер, и вот теперь она оказалась здесь. Правда, мать и отец запретили ей обращаться к Ксении Гавриловне— как же она управится за ночь, человек работает, утром снова на работу? Вон в ателье материал пролежал около двух недель и ничего не сделали.

Ира еще раз умоляюще посмотрела на хозяйку и стала разворачивать сверток. Девушка торопится. Волнуется, пальцы с розовыми ногтями дрожат. А на лице по-прежнему румянец и глаза блестят— блестят счастьем.

— Ирочка, а как мне успеть к завтрашнему дню?— смущенно, точно в чем-то она была виновата, начала Ксения Гавриловна.— Я же с утра была на работе, устала... Если даже не смыкая глаз просидеть всю ночь, и то едва ли успею... Что же ты раньше не пришла? Ну хотя бы вчера?

— Мне должны были сшить в ателье, а там мастер заболела...— губы девушки задергались, она встала, выпрямилась. Беспомощно повисли руки. Ира была сейчас в отчаянии. Весь вид ее говорил, что не будь платье готово к завтрашнему дню — счастье ее рухнет... Глаза у нее потухли, вся она сжалась и готова была расплакаться. Тетя Ксения, последняя ее надежда, могущая делать все, выручавшая ее не раз в течение восемнадцати лет, первый раз не могла исполнить ее просьбу, может быть, последнюю...

Девушка и женщина долго и пристально смотрели друг на друга, точно впервые встретились. Старшая, прожившая жизнь, понимала ту, которая только начинала жить, а Ира никак не хотела понять и не понимала, что она пришла с невыполнимой просьбой.

Как ни странно, а Ксения Гавриловна завидовала этой красивой девушке, счастье которой полностью сейчас зависело от нее — тети Ксени. И тут же она поймала себя на этом гадком, липучем чувстве. Поборов внутреннюю зависть, видя перед собой заплаканное лицо девушки, Ксения Гавриловна подошла к Ирочке и приласкала:

— Ну, ладно-ладно, ты не слишком сокрушайся, авось и успеем... Завтра, кстати, мне в вечернюю смену,— тут же придумала она, желая успокоить девушку.

Хозяйка взяла со стула Ирин узелок и пошла в комнату, где стояла швейная машинка. «Пообещать-то я пообещала, а теперь надо у начальника отпрашиваться во вторую смену»,— думала Ксения Гавриловна.

— А жених-то хоть кто? Тот, что в футболке ходит?— между делом, желая скрыть свою озабоченность, спросила Ксения Гавриловна, разворачивая сверток.

— Он,— девушка кивнула головой.

— Игорем, кажется, зовут?

— Игорем,— ответила Ира и тут же не без гордости добавила:— Он капитан заводской футбольной команды... В этом году заочно окончил энергетический институт. Мы с ним в одном цехе работаем...

— Что вместе работаете, это хорошо,— раскладывая

на столе материал, говорила женщина.— И институт окончил — тоже похвально. Любишь его? — с женским любопытством задала она вопрос и испытывающе посмотрела на девушку.

— Люблю...— зарделась девушка.

— Ну, как будем шить?— спросила Ксения Гавриловна, осмотрев материал.— Какую фату хочешь? Вот посмотри,— и она достала с этажерки кучу журналов.

После долгого и придирчивого выбора они остановились на фасоне платья, рекомендованном Ленинградским домом моделей. Тем более, что материал подходил именно для такого платья. Осталось только купить сверкающую брошь к поясу-корсажу и пуговицы для кофты-фигаро. Ксения Гавриловна сняла с девушки мерку и, пока магазины были открыты, послала Ирочку за брошью и пуговицами, а сама стала кроить.

От нахлынувших чувств девушка поцеловала Ксению Гавриловну и спросила:

— Тетя Ксения, а вы тоже любили?

— Любила, милая, любила. Иди, а то магазины закроют,— упавшим голосом ответила она.

Девушка не заметила перемены в Ксении Гавриловне. Она, как все молодые люди, сейчас была слепа и глуха от счастья.

— А он вас любил?

— Любил. Иди, доченька, иди...— женщина с трудом сдерживала слезы.

Ира, радостная и возбужденная, выскочила из квартиры. У нее впереди была свадьба, счастливая жизнь! Их добрая тетя Ксения, на ее счастье, работает во вторую смену. Жизнь прекрасна! Жизнь удивительна!

...Ксения Гавриловна уже давно работает на швейной фабрике. Дома она шьет мало. И то не ради заработка, а чтобы чем-то занять время и скрасить одиночество.

Сейчас ей сорок семь. Для женщины это не мало. Если учесть, что она двадцать семь лет работает на фабрике. Никто не знает, как и когда Ксения Гавриловна приехала в Чебоксары. Для всех она вроде бы понятна и ясна: к людям добра, в поведении своем безупречна — никто ни разу не видел в ее квартире мужчин. В первые годы подружки ее за это на смех поднимали, за глаза называли «старой девой». Потом забыли вовсе и теперь никто не знает, была Мишина замужем, имела детей или

нет. Все быльем поросло. Только одно отлично знают, что тетя Ксения нужна всем...

...К возвращению Иры Ксения Гавриловна уже успела раскроить ткань и начала шить. Девушка возбужденно вбежала в квартиру и стала показывать покупки: брошь серебристого блеска и изящные белые пуговички. Женщина одобрила покупки и велела ей идти домой поспать, а часа в три ночи прийти на примерку.

— Иди-иди,— сказала она стоявшей в нерешительности девушке.

В другой раз Ксения Гавриловна была бы рада присутствию постороннего человека. Но в этот вечер ей просто необходимо было остаться одной. Ира напомнила ей молодость, любовь... Сколько ночей она не могла сомкнуть глаз за двадцать семь лет одинокой жизни! Какие только мысли не приходили в голову! Как тоска по любимому источила ее сердце! Кто поймет? Сколько раз она просыпалась от прикосновения горячих рук любимого, а потом до утра не могла сомкнуть глаз...

Неожиданно мысли женщины перешли к Ире и Игорю. Как-то сложится ее жизнь? Будет ли она счастлива?

...А машина все стрекочет, мелькает короткой молнией иголка, так что глазом не уследишь за ней. Ровный и прямой шов ложится на платье... А машинка все стучит и стучит...

Чего только не шила Ксения Гавриловна на своей фабрике, а вот свадебные платья не приходилось. Поэтому работа эта для нее непривычная. Но она шьет с охотой, хотя на фабрике ей сегодня пришлось поработать особенно много — конец квартала, много недоделок. После смены она сильно устала, вернулась с работы, думала отдохнуть, а тут на тебе — снова работа, да еще какая! Конечно, будь что-нибудь другое, а не свадебное платье, ни за что бы не взялась шить... А как волнуется девушка! Каким счастьем сияет ее красивое лицо! Правда, она еще не знает и не чувствует материнского счастья. Но придет время, и она почувствует это ни с чем не сравнимое счастье женщины! А ей—Ксении—так и не пришлось испытать подобного счастья — она все похоронила в себе... За Иру она очень рада. Вот только не рановато ли? Ведь слишком молода еще, лишь восемнадцать. Прежде в народе был обычай выдавать замуж девушек совсем молодыми. Теперь другое время, до за-

мужества надо хотя бы получить образование или овладеть какой-нибудь профессией. Без этого теперь невозможно.

Незаметно для себя Ксения Гавриловна стала обдумывать будущую жизнь Иры и Игоря.

На самом деле, как сложится их жизнь? Будут ли они счастливы? А почему они должны быть лишены счастья? Игорь, видно, хороший парень, заочно институт окончил. Значит, парень толковый и настойчивый. Не зря его Ира полюбила. Да и внешность у него привлекательная, опрятен, статен. Ира хорошая пара ему — выросла и настоящая красавица стала. Закончила среднюю школу, поступила работать на завод. Она тоже сможет окончить институт, последует примеру мужа, только бы желание было... А через годок у них, глядишь, и ребеночек родится. Уложат малыша в коляску и втроем выйдут на прогулку, пойдут в тенистый парк, сядут отдыхать... Ребенок, как и тысячи других, будет пухленьким, с толстенькими, словно перетянутыми в запястьях ниточками, ручками, потянется к отцу, к матери. Потом научится сидеть, вставать, ходить... Сколько будет тогда радости у молодых родителей! И дома у них тогда не будет тишины, как у меня, а будет смех, крики, топот ног...

А машинка по-прежнему стрекочет, мелькает иглока — глазом не уследишь. Как ни путаются мысли в голове, а шов получается ровный, гладкий. Еще совсем недавно болела поясница, ныли руки в суставах, а теперь вот голова стала болеть. Ксения Гавриловна частенько страдает головной болью. В одно время она зачастила в больницу, но улучшения не было. А однажды старый доктор прямо ей сказал, что головные боли у нее от одиночества, надо выходить замуж. Ксения Гавриловна тогда чуть было не крикнула, за кого же ей выйти замуж, уж не за него ли? Но тут же почувствовала, как запылали щеки... Конечно, если бы старый доктор знал ее жизнь, он никогда бы не позволил себе такой бестактности...

У Ксении Гавриловны пересохло во рту, и она пошла на кухню — выпила стакан холодного кофе и снова принялась за шитье. Не обращая внимания на боль в пояснице, на отяжелевшие от усталости веки, она привычно вертела ручку машинки. Уже и полночь прошла, а она все шила и шила... Временами лицо ее озарялось едва заметной улыбкой. Сделав все необходимое, Ксения Гав-

риловна встала, пошла на диван, присела, откинувшись на спинку, и стала ждать Иру на примерку...

В квартире тихо. Тихо и на улице. В раскрытое окно третьего этажа не доносится ни звука. В городе давно уже перестали ходить троллейбусы и автобусы. От тишины у Ксении Гавриловны никнет голова, закрываются глаза. Что же это Ирочка не идет? Неужели так крепко спит? Не может этого быть. Ведь завтра свадьба — до сна ли ей! Готовиться надо же! А дел в таких случаях всегда по горло.

Свадьба... Счастье молодоженов, веселье...

Ксения Гавриловна закрыла глаза, и ей вдруг почудилось, что где-то рядом звучит свадебная музыка, слышится смех... У нее забилося сердце, готовое вот-вот выскочить из груди. Она положила руку на грудь... Сквозь туман перед ее глазами вдруг встал образ двадцатипятилетнего красивого парня с прямым носом, карими глазами и чувственными полными губами. Женщина реально слышала шум никогда не бывавшей свадьбы, чувствовала прикосновение сильных рук давно не существующего на земле человека... А ведь был на земле такой человек, любовался природой, бегал по траве, любил косить по росе, пел песни, смеялся, радовался солнцу, небу...

И вот однажды — двадцать четыре года назад — его не стало для всех, но не для нее — Ксении. Для нее он вечно живой.

Тогда они оба были молоды: Ксении было двадцать три, Кируку — двадцать пять. Два с лишним года они дружили, любили друг друга. Кирук работал шофером. Ксения приехала из деревни и поступила на швейную фабрику... Ксения Гавриловна до сегодняшнего дня уверена, что так любить друг друга, как любили они, едва ли кто способен. Так думать она имеет право, потому что их любовь была прервана в самом расцвете...

Однажды незабываемым теплым тихим июньским вечером Кирук предложил ей... стать его женой.

Ксения обрадовалась и тут же, засмущавшись, отвернулась. Она давно знала, что Кирук любит ее, но все равно его предложение оказалось неожиданным. И она не стала блюсти старый девичий обычай — не стала заставлять засылать сватов по несколько раз. Ксения тут же ответила согласием, чем очень обрадовала парня. Свадьбу решено было сыграть через неделю. Но и недели не

прошло, как началась война. А через три дня Кирук отправился на фронт. Письма приходили редко. Кирук писал, что все будет хорошо. Но спустя год, Ксения получила треугольное письмо, написанное чужой рукой... Сколько потом девушка ни ждала весточки, так и не дождалась...

Ксения Гавриловна потерла лицо ладонью и встала. Ей не верилось, что это было воспоминание двадцатипятилетней давности. Ведь стоит ей прикрыть глаза, как Кирук встает перед ней, как живой.

Женщина подошла к окну и взглянула на улицу. Город все еще спал. С Волги доносились гудки паровозов, и ветер приносил свежесть воды, запах рыбы... «В тот вечер также было тихо и хорошо», — подумала женщина и явственно услышала: «Будешь меня ждать? — спросил Кирук вечером накануне отъезда на фронт. — Наберешься ли терпения ждать?»

Ксения горячо заверила, что будет ждать столько, сколько надо... И вот она уже ждет его четверть века...

Вспомнила, как ездили на машине в деревню к ее родителям. Все было хорошо — полуторка весело бежала по ухабистому большаку, оставляя за собой клубы пыли. И вдруг машина зачихала и остановилась. Оказалось, что не хватило бензина. Пришлось заночевать в поле. Натаскали в кузов сена и легли рядышком. Они не спали: считали на темном небе звезды, наблюдали за падающими метеоритами...

— Вот чья-то жизнь оборвалась, — чуть не плача, говорила Ксения.

— Откуда ты взяла такое? — удивлялся Кирук.

— Старики так говорят.

Утром шофер попутной машины дал им бензина, и они отправились дальше.

А перед отъездом на фронт Кирук напомнил об этой поездке:

— Помнишь, как ночевали в кузове? Какое было небо!

На фронте Кирук был танкистом. В одном бою танк его подбили, сам он был тяжело ранен, весь экипаж сгорел. Сколько раз потом содрогалась Ксения Гавриловна, представив себе, как горел ее Кирук...

...Говорят, что муж Настюк с нижнего этажа тоже был танкистом и сгорел так же, как Кирук... И сколько таких вдов, сирот остались в горе и ожидании? А сколь-

ко женщин, как она, не познав мужской ласки, доживают свой горестный век? Они, не успев стать женщинами, уже стали вдовами...

Дверной звонок привел женщину в себя. Ксения Гавриловна открыла дверь. Девушка все так же сияла, все так же счастливо смотрели на мир ее карие глаза.

— А я уж заждалась тебя, Ира!— обрадованно сказала хозяйка и начала примерять девушке платье. Осмотрела со всех сторон, наметила, где прибавить, где отпустить, затем повернула девушку лицом к себе и поцеловала ее в лоб. Обе улыбнулись.

— А меня родители не хотели отпускать, мол, беспокоишь человека,— сказала Ира и села на диван.

Снова застрекотала машинка, снова женщина склонилась над работой. Услышав спокойное дыхание Иры, Ксения Гавриловна оглянулась — девушка спала, держа в руках журнал мод. Женщина встала и подложила ей под голову подушку...

...Стало светать. В окно доносился шум просыпающегося города. Несмотря на тяжесть в теле, усилившуюся головную боль, Ксения Гавриловна продолжала шить.

К девяти часам платье для невесты было готово. Ксения Гавриловна отутюжила его и лишь потом бесшумно подошла к спящей Ире. Девушка спала, как ребенок. Свернувшись калачиком, она поджала под себя ноги, под щеки подложила нежные, еще не натруженные работой руки. Ксения Гавриловна начала было уже будить невесту, но тут же пожалела: «Пусть еще немного поспит. За день еще намается». Отошла, присела на стул, держа в руках свадебный наряд. И тут с ней что-то случилось. Она взглянула на Иру, встала, оглядела себя с ног до головы, и лицо ее осветилось изнутри детским счастьем. «Примерю-ка я на себя»,— решила Ксения Гавриловна.— «Да зачем же, давно уже я вышла из-под венежного возраста»,— шептал внутренний голос. Женщина уже в какой раз положила платье на стол и стала любоваться своей работой. Потом решительно подошла к зеркалу, сняла свое платье, осторожно, точно боясь сделать больно, погладила худые руки, маленькую грудь, вздохнула и решительно надела Ирино платье, накинула на голову фату, вытащила из шкафа белые, почти совсем новые туфли, подошла к зеркалу... Ксения Гавриловна не поверила своим глазам: на нее смотрела красивая женщина, которой можно было дать не более тридцати

лет. Ее стройную фигуру облегалo красивое белое платье. Только вот огрубевшие руки с плохо подстриженными ногтями выдавали возраст и не соответствовали красивому наряду. Но женщина не замечала этой «мелочи». Счастливая, как настоящая невеста, которая через час пойдет с любимым в ЗАГС, она поворачивалась перед зеркалом, разглядывала красивые линии бедер... Большие синие глаза, окруженные сетью морщин, были красны от слез и одновременно сияли от несбыточного счастья...

Ксения Гавриловна не слышала, как проснулась Ира и незаметно подошла сзади. Увидев в зеркале приближающуюся девушку, хозяйка ойкнула и прижала руки к груди, точно она была раздетая.

— Ой, какая вы красивая, Ксения Гавриловна! Тетя Ксенечка, да вы просто прелесть!— радостно щебетала Ира.— Если бы мне сказали, что вы такая, я б никогда не поверила!— по-детски непосредственно тараторила невеста.— А какая вы стройная...

Поборов смущение, женщина ответила:

— Что ты, Ирочка, я уже стара... Жалко было будить тебя, вот и решила примерить на себя... А на тебе оно будет смотреться еще лучше, ведь ты молодая и счастливая. Я буду очень рада, если моя работа понравится тебе, твоему жениху. Пусть это будет мой свадебный подарок!

«ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ ЛЕБЕДЕЙ»

Я познакомился с ним случайно. Мы стояли у класса, где шел экзамен. Через закрытую дверь до нас доносились звуки рояля. Мы волновались и ждали, когда пригласят нас. Вдруг мне показалось, что я где-то раньше видел своего соседа. Особенно мне запомнились его серые печальные глаза и чуть вздернутый нос.

— Извините, вы откуда приехали?— спросил я.

— Из Чувашии. А что?— удивился парень, внимательно рассматривая меня.

— Музыкальную школу там кончали?

— Нет. Я учился в сельхозинституте...

— В сельхозинституте? А зачем тогда сюда?

Парень улыбнулся.

— А что же в этом удивительного?

Тут из класса вышла девушка. Она не успела прикрыть за собой дверь, как мой собеседник смело проскользнул в кабинет. Он пробыл там около часа. Так долго экзаменатор еще никого не держал. Видно, потому, что парень пришел из института, не имеющего к музыке никакого отношения.

— Ну, как?— окружили мы его, как только он показался в коридоре.

В ответ парень пожал плечами — жест довольно хорошо известный абитуриентам всего мира. Но ликующее лицо паренька говорило, что успех сопутствовал ему.

Случилось так, что я попал с ним в одну группу и к тому же профессору, которому сдавали приемные экзамены. Учился мой новый знакомый — Миша Саватеев — осатанело. Мог сутками сидеть за роялем и десятки, сотни раз проигрывать заданные упражнения. Музыка стала его жизнью. Со временем мы так крепко подружились, что нас, как говорят, водой нельзя было разлить. Я поражался его упорству, с которым он учился. Несмотря на то, что Миша пришел из сельхозинститута, он по многим дисциплинам обошел нас, имеющих уже музыкальную подготовку.

Я замечал, что чаще других вещей мой друг играл «Танец маленьких лебедей». При этом он забывал обо всем, был отрешен от всего земного. И однажды после его очередной игры я спросил:

— Что это у тебя, Миша, за привычка: каждый раз, как садишься за рояль, неизменно играешь «Танец маленьких лебедей»?

Плечи моего друга вздрогнули. Он опустил глаза, а потом пристально посмотрел на меня, но ничего не ответил. Только как-то весь обмяк.

— Что-нибудь вспомнил, да?— бесцеремонно допытывался я.

Он опять ничего не ответил и продолжал забвенно играть.

Теперь я был убежден, что с этой чарующей, неповторимой музыкой Чайковского у моего товарища были связаны какие-то воспоминания. Миша снова не видел вокруг никого. Казалось, для него сейчас весь мир погружен в грезы и звуки волшебной музыки. Он даже внешне выглядел иначе — был одухотворен и красив. Творческое вдохновение охватило все его существо. Заворожен-

ный, я боялся шевельнуться и нарушить прекрасное настроение друга.

Он кончил играть, полузакрыв глаза, откинулся на спинку стула. Миша еще, видно, слышал, как замирают последние звуки аккорда. Потом повернулся ко мне и по-детски чисто улыбнулся:

— Ты спрашивал, не напоминает ли мне что-нибудь эта мелодия?

— Да...

— И тебе очень хочется знать об этом?— каким-то таинственным и ласковым голосом спросил Миша.

Я на миг растерялся и сказал с нарочитым равнодушием:

— Конечно, послушаю, если ты расскажешь...

— Что ж, я могу рассказать. Только боюсь, что тебе это покажется неинтересным, банальным.

— Да перестань, лучше рассказывай,— перебил я друга.

— Тогда слушай и не перебивай,— тихо сказал Миша и поведал мне удивительную историю.

...Три года тому назад, в начале июля, отец, старший мой брат и я отправились в лес на заготовку бревен для дома. Брат был женат и решил отделиться от отца. Вот мы и решили поставить ему дом. Лес был от нашей деревни километрах в двадцати, и поэтому нам пришлось, пока мы валили деревья, жить в доме лесника — фронтового друга отца. Когда я еще был ребенком, он раза два заезжал к нам, подолгу разглядывал фотографии военных лет, вспоминал товарищей, бои. После войны прошло уже столько лет, а дядя Степан и теперь еще ходит в вылинявшей гимнастерке, в сапогах и галифе из толстого сукна.

К дому лесника мы подъехали, когда уже садилось солнце. Пройдя через глубокий овраг, мы сразу же оказались возле небольшого домика. На стук колес нашей телеги открылось окно, и хозяин радостно воскликнул:

— Елизар! Добро пожаловать, дружище! Подожди-ка, я сейчас сам выйду,— он тут же исчез, и через некоторое время раскрылись широкие ворота, в которые был виден вместительный двор.

— Давайте, давайте, заходите!— приглашал лесник, здороваясь с каждым из нас за руку. Показав на меня, спросил:

— И этот твой?

— Мой, средний.

— О-о! Тогда у тебя еще есть кого женить!— подмигнул лесник.— Так скоро опять к нам за бревнами придете...— многозначительно намекнул он.

— Сначала пусть институт окончит.

— Студент, выходит?— с усмешкой разглядывая меня, спросил дядя Степан.

— Пока нет, а вот с осени пойдет.

— Хорошее дело... Давайте выпрягайте лошадь, сами отдохните — будьте как дома.

Дав лошади корм, мы зашли в просторную избу. В ней было чисто, уютно, обстановка словно в какой-нибудь городской квартире: на окнах капроновые занавески, у стены стоят два шкафа со стеклянными дверцами, в углу на полированной тумбе поблескивает лаком радиоприемник, крашеный пол блестит, что твой паркет. Но больше всего привлекло мое внимание пианино, гордо стоявшее в углу. «Кто же у них играет? Ведь не дядя же Степан, да и не жена его, конечно?»— думал я, разглядывая пианино.

— Рассаживайтесь и будьте как дома,— еще раз пригласил нас хозяин и тут же скрылся в сенях.— Сегодня все женщины ушли,— продолжал он, быстро вернувшись и поставив на стол тарелку с солеными грибами, пахнувшими чесноком и укропом.— Жена в лесу сено косит, а Лида с Георгием, одному богу известно, где целыми днями пропадают, возможно, уехали в деревню... Ну, да мы сами как-нибудь справимся,— рассуждал лесник, умело и быстро накрывая на стол. Потом он открыл шкаф и водрузил на середину стола графин красного вина или настойки.

— Это ты напрасно, Степан,— с интересом поглядывая на графин, не особенно твердо произнес отец.— Не надо бы...

— Ничего. При встрече таких гостей, думаю, не помешает,— возразил хозяин и, взглянув на меня, улыбнулся. Потом он налил в граненые стаканчики вино и поставил перед нами.

— Со свиданием, Елизар Кузьмич!

Я чувствовал себя робко и отставил свою стопку, но хозяин оказался довольно настойчивым.

— Теперь ты уже взрослый, среднюю школу окончил,— сказал он.— При отце да при мне можно рюмочку пропустить, а вот на стороне или где на улице с незна-

комыми — смотри у меня! — И он погрозил мне указательным пальцем с разбитым ногтем. Я выпил вино и вскоре почувствовал, как начинает у меня кружиться голова и приятная слабость охватывает все тело. Взрослые выпили еще по одной и возбужденно заговорили, вспомнили молодые годы, фронт... Я встал и незаметно вышел из-за стола — решил прогуляться на свежем воздухе.

Дом лесника стоял посреди небольшой полянки, окруженной разнолесьем — вековыми липами, дубом и молодыми березками. Возле забора высились свежеструганные бревна, рядом — поленницы дров. За огородом, обнесенным жердями, стоял стог свежего сена. Красная корова и подтелок аппетитно утоляли возле него свой голод. За поляной был глубокий овраг.

Нагулявшись и почувствовав себя хорошо, я вернулся в дом. За столом по-прежнему шла оживленная беседа. Графин был уже опорожнен. По тому, как хозяин и отец спокойно посмотрели на меня, я понял, что они даже не заметили моего ухода. Хозяин горячо рассказывал о своей жизни, а отец — о колхозных делах. Дядя Степан до войны работал комбайнером, демобилизовавшись, не пошел в МТС, о чем, судя по его словам, теперь жалел, и думал в недалеком будущем все же встать за штурвал комбайна.

Вдруг в открытое окно ворвался звук мотора, а через некоторое время к дому лихо подкатил мотоцикл. За рулем сидел подросток лет пятнадцати, а на заднем сидении — красивая девушка, одетая по-городскому.

— Вот и приехали! — радостно воскликнул хозяин, подходя к окну. — У меня сейчас дочка гостит. Она в консерватории учится! — с гордостью закончил хозяин.

Теперь я понял, почему в этом доме пианино.

Дочь лесника ничуть не смутилась, увидев за столом незнакомых людей. Она поздоровалась с нами и тут же ушла в другую комнату. Все это произошло так быстро, что я запомнил только ее выющиеся волосы с легким золотистым отливом.

— Ну, как там, Лида, в деревне? — спросил дядя Степан и шепнул нам: — Возят ее, как артистку. Ухажер молодой...

На улице снова затарахтел мотоцикл, и вскоре его шум затих за оврагами. Лидин братишка куда-то снова укатил.

— Да все там хорошо,— слышался голос девушки из своей комнаты.

— Совсем уже взрослая,— почему-то грустно заметил хозяин.

— А мамы разве дома нет?— спросила девушка, выйдя к нам и пристально разглядывая меня. Я смутился и отвел глаза. Отец и дядя Степан заметили это и, чтобы как-то разрядить обстановку, заговорили о лесе, о погоде.

Лида не придавала никакого значения этому. Она сказала отцу, что займется домашними делами: подоит корову, приготовит пойло, накормит кур, поросят...

И действительно, к приходу матери девушка сделала всю домашнюю работу.

— Вот какая она у меня!— не удержался захмелевший хозяин.

После ужина старики еще долго беседовали, и, казалось, их разговорам не будет конца. Но наконец мой отец поднялся и, потягиваясь, сказал:

— Пора, пожалуй, Степан, и на покой! Куда ты нас уложишь?— спросил он хозяина, а сам посмотрел в окно:— А нельзя ли на сеновале?

— Почему на сеновале? И в доме хватит места! Не обижай меня!

— Сейчас на сеновале лучше, чем дома!

— Что верно, то верно,— согласился хозяин.— Недавно свежее сено привезли... Что ж, дело ваше. Дочь, приготовь-ка гостям постель на сеновале!

— Хорошо, папа,— ответила девушка и понесла на сеновал кучу одеял и подушек.

Я хотел было помочь ей, но сробел. Мне казалось тогда, что все поднимут меня на смех, даже она — Лида.

Девушка вернулась минут через десять и, проходя в свою комнату, бросила отцу:

— Пап, постели я приготовила...

В ее голосе я уловил укор.

Тишина, запах свежего сена блаженно действовали на отца и брата. Они заснули мгновенно, едва их головы коснулись подушек. А я еще долго не мог уснуть: то видел Лиду на мотоцикле, то представлял ее собирающей цветы на поляне, то слышал необыкновенные звуки — как будто она играла на пианино... Открыв глаза, я разглядел в свете луны потревоженного шмеля. Я ругал себя за робость — почему мне с ней было не позна-

комиться днем и не помочь в домашней работе? От мыслей у меня начала гудеть голова, а щеки горели как после выпитого вина...

Сон, казалось, уже коснулся моих глаз, но в это самое мгновение рядом с сараем душераздирающе крикнула какая-то птица. Она всполошила кур, которые закудахтали так, точно к ним ворвалась лиса. Тогда я, потеряв всякую надежду уснуть, надел сапоги, спустился по лестнице и вышел во двор.

Стояла теплая летняя ночь. Был тот час, когда лес погружается в дремотную, ничем не нарушаемую тишину. Мимо меня бесшумно пробежал белый котенок и остановился у сени, тоненько замыкал, подняв вверх мордочку.

Не понимая, что творится со мной, я пересек поляну, освещенную луной, и углубился в лес. Как я ни старался думать об учебе, друзьях, могучих деревьях, похожих на заколдованных богатырей, ловил звуки ночных птиц, зверушек, а мысли мои непременно возвращались к Лиде. Я явственно слышал ее голос, и луна, как мне казалось, высвечивала ее лицо, фигуру...

Не знаю, сколько я бродил по лесу, но, вконец уставший, в удивительно хорошем настроении, я снова вышел на поляну. Луна была уже бледной, и рассвет начинал диктовать свои права. Меркли на небе звезды, точно кто-то невидимой рукой тушил фонари.

Я почти бесшумно влез на сеновал и лег на остывшую постель. Уже в полусне я опять услышал крик какой-то птицы, потом где-то за лесом залаяла собака... Передо мной возникли лесник и все его семейство — жена, дочь, сын... Но все они исчезли так же внезапно, как и появились. Осталась только Лида. Она подошла ко мне и, нежно коснувшись руками моего лица, улыбнулась. Потом и она куда-то пропала. Я вздрогнул и проснулся... И так лежал с открытыми глазами до тех пор, пока не встали отец и брат. Я все еще чувствовал на лице прикосновение Лидиных пальцев...

Мы ушли в лес, когда все еще спали. Только дядя Степан был на ногах и торопил нас, чтобы по прохладце углубиться в лес. Наскоро собрав еду, мы двинулись на делянку. Лесник довольно быстро сделал зарубки на тех деревьях, которые можно было валить. Работалось легко. Было прохладно. Тут я невольно поблагодарил в душе дядю Степана за то, что он поднял нас так рано.

Охотней всех работал я, потому что торопился вернуться на кордон — к Лиде. Когда брат, отец и лесник делали перекур, я обрубал сучья, собирал их в кучу. Мое старание заметили взрослые, переглянулись, но ничего не сказали.

Возвращаясь, я с трудом сдерживал себя, чтобы не побежать. Я не слышал, о чем говорили отец и лесник. Перед моими глазами все время стоял образ Лиды, и я отчетливо слышал её голос...

Еще издали мы слышали звуки пианино.

— Дочь играет,— улыбаясь, гордо заметил дядя Степан.

Я сразу же хотел пройти к Лиде и попросить ее поиграть что-нибудь, но проклятая робость не позволила сделать это. Расстроенный, я стал помогать дяде Степану убирать во дворе: отнес на место пилы, топоры, напоил скот...

После ужина я присел к столу и начал читать книгу. Вдруг Лида подошла ко мне и спросила:

— Что вы читаете?

Я растерялся до того, что не сразу ответил, а просто уставился на нее. Чувствуя, что Лида начинает смущаться, я наконец пролепетал:

— Пьесы Симонова...

— Вы привезли книгу с собой?

— Нет, ваша... Я и не предполагал, что у вас такая большая библиотека.

Девушка замолчала, покусывая концы золотистых локонов.

— Куда хотите пойти учиться?— снова неожиданно спросила она, и щеки ее запылали, как спелые яблоки.

— В сельхозинститут...

— Стало быть, будете агрономом? Что ж, хорошая профессия...

— Хорошая,— согласился я,— но мне консерватория нравится больше... Только для этого нужен талант, а он дается не всем...

— Ничего,— улыбнулась она.— Хороший агроном несколько не хуже хорошего артиста.

Ее тонкие черные брови чуть заметно вздрагивали. А на щеках были ямочки. Бывают же на свете такие сказочные красавицы! Я смотрел на нее и наивно, по-мальчишески думал: как такая девушка могла оказаться в лесу?

Лида, видно, заметила, что со мной творится что-то неладное, и ушла к себе так же неожиданно, как и подошла ко мне.

На мое счастье, мы остались на кордоне лесника еще на несколько дней. Правда, брат чертыхался. Но дядя Степан сказал, что ему нелегко находить нужные деревья недалеко от дороги.

По вечерам я выходил за ворота и часами сидел на бревне перед домом. Лида и ее братишка Георгий присоединялись ко мне. Мы сидели втроем и разговаривали обо всем: кино, артистах, книгах, спортсменах. Если сказать правду, то говорила-то Лида, а мы слушали. Иногда она принималась смеяться над нами. Это меня обижало, и я совсем терялся. Тогда Лида догадывалась об этом, переставала смеяться и начинала разговаривать серьезно. Она расспрашивала меня о том, какие книги я читаю, чем больше всего интересуюсь. Но моя застенчивость, которую я никак не мог побороть, сковывала мне язык, и я не мог ей сказать ни слова. При людях я еще был способен что-то вымолвить, но когда оставался с ней наедине или в присутствии ее братишки, хитро смотревшего на меня, я немел.

— Вы, я гляжу, не словоохотливы,— заметила однажды Лида.— Сами хотите стать агрономом, а разговаривать не любите. Интересно, как это вы будете изъясняться с людьми?

Поборов очередной приступ смущения, я спросил:

— О чем же мне с вами говорить?

— Вот тебе на! Можно говорить о чем угодно, например, о кошках!— Она звонко рассмеялась.— В нашем городе есть один молодой поэт, так он со мной говорит только о кошках,— вызывающе сказала она.

Я тоже притворно рассмеялся, а девушка продолжала:

— Нет, вы все-таки не любите разговаривать,— настаивала Лида.— Тогда скажите хоть, о чем вы сейчас думаете?

— Ни о чем...— буркнул я, чувствуя, как у меня горят уши.

— Не может быть! Человек всегда о чем-нибудь думает!— Зеленоватые глаза девушки смеялись, а красивое лицо ее было каменным.

— Тогда считайте меня исключением,— обрел я вдруг дар речи.— Вот в данный момент я ни о чем не думаю...

— О-о! Какую тираду вы изрекли!— Лида пожала плечами и спросила:— Кого напоминают эти деревья?

— Которые?

— Вон те, два тополя,— показала она рукой в сторону огорода.

Я посмотрел на тополя. Один из них был толстый, низкий, другой — высокий, наклонился в сторону своего неизменного соседа и точно отдыхал на его могучих ветках. Я хотел сказать об этом, но побоялся, что Лида засмеет, и выпалил:

— Не знаю...

— А мне они напоминают старика и старуху,— тихо и грустно сказала девушка.— Старушка что-то шепчет, а старик плохо слышит, потому наклонил голову и слушает... Мне очень жалко их...

Я взглянул на Лиду. Мне показалось, что она готова вот-вот заплакать. И тут я подумал: откуда появились эти два тополя здесь? Их наверняка кто-то посадил. Ведь вокруг одни дубы, клены, березы.

Желая угодить девушке, я хотел сказать, что я тоже почти так думал. Но опять опоздал. Раскрылось окно, и лесник позвал дочь домой. Я видел, как Лида ждала моего слова, но опять — в какой уже раз!— робость оказалась сильнее меня, моих желаний.

Мы поднялись и направились в дом. По дороге Лида тихо спросила меня:

— Кто из композиторов вам больше всего нравится?

— Я люблю песню «Пастух»...

— Песню Воробьева?

— Да. «Пастух сидит на холме...»

— Спеть вам ее?— вдруг предложила Лида, переступая порог комнаты.

— Да-да, сделай милость, спой нам что-нибудь, и гости вот хотят послушать,— попросил дочь уже успевший выпить лесник.

— Хорошо, спою вам о пастухе,— теперь уже без особого вдохновения ответила Лида, подходя к пианино. Привычным движением руки она откинула крышку клавиатуры, взяла несколько аккордов и запела нежно и печально о пастухе, его нелегкой доле, безответной любви...

Мы сидели как замороженные. Чистый, как ручей, Лидин голос доходил до сердца. Я любил эту песню, однако никогда не думал, что ее можно спеть так прочувство-

ванно. Песня захватила меня, и я, не отдавая отчета своему поступку, попросил:

— Лида, спойте еще что-нибудь!— не знаю, куда девалась моя застенчивость и робость.

— Что?— повеселев спросила Лида.

— Спой-ка, доченька, ту... песню Антонида,— попросил лесник.

— Хорошо, папа. Только ведь она тоже грустная,— сказала Лида и мельком взглянула на меня. Затем она гордо выпрямилась на стуле, пробежала пальцами по клавишам, и в доме зазвучала мелодия:

Не о том скорблю, подруженьки,
Я горюю не о том,
Что мне жалко доли девичьей,
Что оставляю отчий дом...

Я зачарованно смотрел на Лиду. Лицо ее в этот момент было печальным, тонкие брови нервно вздрагивали. Чувствовал я себя тогда словно в волшебном мире. Все прекрасное было сосредоточено в Лиде — ее голосе, ее красивом облике... Я и теперь слышу ее голос. Тогда у меня было огромное желание поцеловать ее маленькие руки, чувственно бегающие по клавишам. Я не мог больше слушать и направился к двери. Как только я шагнул за порог, Лида оборвала песню.

Я долго бродил по лесу, а когда вернулся, в доме, как мне показалось, все уже спали.

— Где ты шляешься?— сердито встретил меня брат, когда я залез на сеновал.

Я ничего не ответил, а брат больше не докучал. Через некоторое время он встал, достал папиросы, спички и спросил:

— Курить будешь?

Притворившись спящим, я и на этот раз промолчал.

Весь следующий день я ходил как пьяный — не знал за что братья. Был рассеян и расстроен, не мог простить своего вчерашнего поступка. «Ха! Выбежал, как кисейная барышня!»

Если брат начинал ругать меня за мою рассеянность, то отец одергивал его:

— Отстань от него! Может, ему нездоровится!

— Знаю, как ему нездоровится...— бурчал недовольно брат.

Вернувшись вечером из лесу, я ужинал без особого аппетита. Отец и брат поедали все, что подавали хозяева, и недоумевающе поглядывали на меня: мол, рабочий человек разве так ест! Лида сидела рядом со мной и была нарочито весела. Это раздражало меня. Усталый физически и нервно, я пошел на сеновал и уснул довольно быстро.

Проснулся я от оглушительных ударов грома. На дворе был уже рассвет. Спустившись с сеновала, я увидел сидящих под навесом отца и брата. Они курили, о чем-то говорили вполголоса. Дождь все еще моросил, но под широким навесом было сухо. Я присел на скамеечку. И тут на крыльце появилась Лида. Я молча уставился на нее, язык мой словно прирос к небу.

— Что же вы не предложите мне сесть?— спросила девушка.— Я вам не помешаю?

— Что вы! Конечно, нет! Садитесь!— не в силах скрыть своей радости, воскликнул я и подвинулся.

Подобрав полы плаща, она села рядом со мной. И тут я почувствовал, как мне стало легко. Я начал бойко рассказывать, как мы заготавливаем для дома бревна, как я ловко научился валить деревья...

За разговором мы и не заметили, как прошел дождь и в чистом воздухе ослепительно брызнули лучи солнца. Сказочными драгоценностями засверкали капельки воды на деревьях, кустарниках, траве... А тут еще засвистели, запели, затрещали на разные голоса лесные пичуги. Как бы желая поддержать этот незатейливый лесной хор, Лида тоже запела:

Дожд-дик, дожд-дик,
Дожд-дик, дожд-дик!..

А потом неожиданно предложила:

— Пойдем за ягодами?

— Нам скоро на работу...— против своей воли ответил я.

— Мы не пойдем далеко. Я знаю одно место, где очень много малины...

— Пошли...

Лида забежала в дом и тут же вернулась с маленьким лукошком.

Мы шли по высокой мокрой траве и вскоре вымокли до колен.

— Хорошо-то как!— собирая пригоршнями с широ-

ких листьев травы воду, кричала Лида и брызгала то себе в лицо, то, хохоча, мне. Вскоре мы вышли на полянку.

— Вот и дошли!— сказала Лида.— Эту поляну называют «Раскорчевкой». Посмотрите, сколько здесь ягод!

— Кустов много, а ягод пока не вижу,— ответил я.

— Сейчас пройдем немного, и там столько, что за час можно корзину наполнить!

Мы прошли довольно солидное расстояние, но ягод и там не было.

— Мы, видно, опоздали. До нас уже кто-то тут побывал,— разочарованно сказала Лида и виновато посмотрела на меня.

Несмотря на то, что ягод мы не набрали и я сильно обжег руки крапивой, настроение у меня было отличное.

— Пошли обратно,— предложила наконец Лида.

— Пошли,— охотно согласился я.

Мы шли и болтали о самых незначительных вещах: о сегодняшнем дожде, ягодах, приближающейся осени. Глядя на меня, промокнувшего до пояса, Лида весело хохотала, угощала меня малиной, встречающейся кое-где по дороге. Потом, резко сменив тему разговора, как это часто с ней бывало, спросила:

— Скажите, почему вы не любите Глинку?

— Откуда вы взяли?— удивился я.

— Позавчера вы не дослушали, когда я пела...

Лицо мое залилось краской, но я твердо ответил:

— Нет, я очень люблю Глинку... А ушел потому, что мне не понравилось, как вы исполняли арию...

— Разве?— перебила меня Лида.— В консерватории профессора мне говорили обратное...

— Согласен, но мне не понравилось,— продолжал врать я. И тут я заметил на ее лице усмешку. На миг я растерялся. Мне показалось, что она заглянула в мою душу. Ее маленькие пальцы чутко бегали по верхушкам трав и цветов.

— Вы не сердитесь на меня, Лида,— попытался поправить дело я.— Ведь моя оценка для вас все равно ничего не значит.— И, желая как-то замять этот неприятный разговор, я сознался, что неуместно пошутил, и спросил:— Не сможете ли вы оказать мне одну услугу?

— Какую?

— Научить меня играть на пианино только одну единственную вещь.

— Научить?— удивленно спросила она.— Но вы же не знаете нот...

— А вы научите без нот. На слух же играют...

— Не знаю, смогу ли...— в раздумье ответила она.

— А вы попробуйте.

— Что ж, попробуем. Ведь вы сегодня не скоро пойдете в лес?

— Пока не просохнет...

— Тогда бежим домой!

Я снова был недоволен собой — наговорил с короб, придумал с пианино и все для того, чтобы быть с ней.

Мы буквально вбежали в дом. Лида переоделась в своей комнате, вышла и села за пианино. На мое счастье, дом был пуст.

— Что же вы хотите разучить?— спросила Лида, открывая крышку пианино.— Вальсы для вас, я думаю будут слишком трудны.

— А вы сами подберите что-нибудь полегче...

Ее пальцы побежали по клавишам.

— Может, что-нибудь из Чайковского? Вы знаете «Танец маленьких лебедей»?

— По радио не раз слышал.

— Тогда попробуем... Сначала я сыграю сама, а вы внимательно слушайте,— степенно, как неспособному школьнику, говорила она и от этого была еще приятнее.

Признаться, я не столько слушал, сколько смотрел на ее пальцы, стремительно бегавшие по клавиатуре.

— Теперь начнем осваивать произведение по частям. Слушайте, старайтесь запомнить мелодию. Если можете, то запоминайте и работу моих пальцев. Лида все это говорила, не глядя на меня. Я даже уловил в ее голосе нотки равнодушия.— Вообще-то так никто не обучает,— продолжала она спокойно.— Но что поделаешь, если ученик желает (она сделала ударение на слове «ученик») познать классику на слух, без изучения музыкальных азов...

Лида иронизировала зло, явно желая вызвать меня на спор. Но я молчал и кивком соглашался с ее «педагогической системой». Она несколько раз сыграла первую часть и сказала наставительно:

— Внимательно следите, играю еще раз... А теперь попробуйте сами,— она посадила меня на свой стул, а сама встала рядом.— Так... так... Вот здесь у вас неправильно получается... Следите, еще раз сыграю.—

Она чуть наклонилась над клавиатурой, стоя сыграла еще раз. Я уже не слышал ее строгого голоса.— Ну, что вы сидите? Играйте!— Золотистые кудряшки волос коснулись моих щек и обожгли меня.

Сбиваясь, я все же с грехом пополам уловил основную мелодию, кое-как сыграл, за что Лида удостоила меня похвалы.

— Хорошо! Теперь пойдем дальше...

Она опять стоя сыграла следующую часть. Потом играл я, затем снова она. И так десятки раз одно и то же. Я до сих пор удивляюсь, как я мог тогда довольно быстро освоить эту мелодию. Но еще больше поражаюсь терпению Лиды, ее настойчивости.

— У вас неплохой музыкальный слух,— похвалила меня в конце занятий Лида.

В тот день я шел в лес, как на праздник,— радостный и взволнованный. Меня неотступно преследовал мотив только что разученной мелодии, избавиться от которого я уже был не в силах. Работал я с таким увлечением, что отец, как бы ненароком, заметил:

— Силушка в тебе, сынок, сегодня неизмеримая!

Заготовка бревен подходила к концу. Через два дня, как сказал отец, мы должны были возвращаться домой.

«Через два дня!.. Что же будет потом?!» Эта мысль не давала мне покоя. «Неужели я не поборю свою проклятую робость и уеду, не сказав Лиде, что люблю ее?..»

Еще два дня мы жили в доме лесника, и два дня я мучался, не зная, как поступить. Теперь мне казалось, что о моей любви знают все. Я стал избегать встреч с Лидой, уходил от разговоров с ней.

Несколько раз Лида спрашивала, не хочу ли я еще помузицировать, на что я глупо отвечал: болят пальцы. Тогда Лида, обиженная, уходила в свою комнату.

По ночам, когда все спали, я уходил в лес и всем существом погружался в безмолвный мир природы. Я воображал, как утром, при всех, скажу Лиде, что люблю ее, и она на глазах у всех бросится в мои объятия... В такие минуты мне казалось, что все это произойдет легко и просто. Я верил, что обязательно скажу ей о своих чувствах. Но стоило мне увидеть девушку, как я немел, делался беспомощным, жалким...

Два дня пролетели быстро и незаметно. Наивно я полагал, что если бы мы остались еще на один день, то я непременно сказал бы Лиде о своих чувствах.

Перед отъездом домой я в последний раз сыграл «Танец маленьких лебедей». Лида стояла рядом со мной, положив руку на пианино, и следила за моей игрой.

— Вы преуспели в музыке,— не без иронии сказала она.— Продолжайте совершенствоваться, не исключено, что вы станете музыкантом. У вас слух, да и смелости вы не лишены. Я думаю, что смелости у вас даже хоть отбавляй...— Голос ее задрожал, и она отвернулась.

Отец и брат уже вывели лошадь на улицу и ждали меня. Дядя Степан о чем-то весело разговаривал с отцом и кивал в мою сторону.

Я в последний раз посмотрел на Лиду, готовый обнять и расцеловать ее.

— Ну, прощайте,— повернулась она ко мне и печально улыбнулась. Мне показалось, что глаза у нее были влажными от слез.

— Прощайте,— с трудом выдавил я и выбежал из дома.

С тяжелым чувством уезжал я с кордона, из уютного домика лесника, где впервые познал радость и горесть первой любви, именно любви с первого взгляда.

Всю неделю я прожил дома, как больной,— ни с кем не разговаривал, ничего не мог делать, плохо спал. Перед моими глазами стояла Лида, чуть грустная и заплаканная, с укором смотрящая на меня... Больше я не мог вынести такого. И однажды я сел на велосипед и поехал на кордон. Добродушная хозяйка встретила меня приветливо и, угадав цель моего приезда, сказала:

— А Лидочка-то наша вчера уехала в консерваторию...

Через несколько дней и я с чемоданом в руках вышел на близлежащий большак, который оказался большой дорогой моей жизни. Я поступил в институт, учился упорно, брал уроки музыки. И все это я делал ради Лиды. Смешно? По-моему, нет. Ведь благодаря встрече на кордоне я познал радость первой любви! Пусть эта любовь принесла мне немало душевных страданий, волнений, но она не прошла бесследно. Она была прекрасна! Передо мной и сейчас стоит образ Лиды, и я постоянно слышу волшебные звуки гениального Чайковского. Там, в лесном домике, я впервые почувствовал всеобъемлющую силу музыки. Бушует ли Волга, шелестит ли ветерок вершинами придорожных ив, плывут ли в утреннем воздухе протяжные заводские гудки — все это отдается

в моей душе музыкой, ставшей второй моей жизнью. Не какие-нибудь случайные обстоятельства, а именно любовь к музыке привела меня из института сюда, в музыкальное училище. И этим я обязан ей, девушке из лесного домика, научившей меня впервые исполнять «Танец маленьких лебедей»...

Мой рассказчик умолк, встал и подошел к раскрытому окну. Некоторое время он стоял молча и смотрел на улицу, потом, точно угадав мое желание, продолжил:

— Нет,, больше я ее не видел. Знаю лишь, что она вышла замуж, счастлива... Ее родители? Они живут там же. Я как-то раз в каникулы посетил кордон. Но дом мне теперь показался унылым, заброшенным. Может быть, это оттого, что там не было ее. Сильно постаревший дядя Степан угостил меня медом, напоил чаем и все жаловался на свое одиночество... Я побродил вокруг дома, побывал на той поляне, где мы с Лидой искали малину. На кордон я вернулся только к вечеру. Наскоро попил чаю и покинул дом, где познал мою первую любовь. Перейдя поляну, я оглянулся. Дядя Степан стоял на крыльце и по-стариковски вяло махал рукой...

Вот и все. Вот почему дорога мне эта музыка и почему я часто ее играю...

ЗАПАХ ГОРЕЛОГО

— Все пропало... Кончилось...— Петр Алексеевич тяжело опустился на обгоревший конец бревна. Состояние было такое, словно на него навалили неприподъемный груз.— Сгорело все, что я успел сделать за сорок пять лет работы... Все пошло прахом...

Старый учитель сидел, облокотившись на острые колени, и не замечал даже, что свои мысли он выражал вслух, и не чувствовал мороза, хотя был в одном пиджаке.

Он поднял седую голову, оглядел чадающие едким дымом черные бревна и сжал тонкими пальцами виски.

— Все кончено, одно пепелище осталось!— И он вдруг расплакался, как ребенок.

Петр Алексеевич, не обращая внимания на толпившихся возле него людей, продолжал разговаривать сам с собою. Он не заметил, как кто-то надел на него меховую шапку, застегнул пуговицы испачканного гарью и

прожженного в нескольких местах пиджака. Старый учитель поднял голову и, как сквозь туман, увидел стоявших перед ним секретаря парткома, начальника милиции и нескольких учителей. А чуть поодаль, среди обгорелых бревен, все еще сустились люди с баграми, что-то кричали, разговаривали громко.

— Никаких следствий и выяснений не надо. В школе сегодня, кроме меня, никого не было. И пожар-то начался с моего кабинета,— глухо сказал Петр Алексеевич, взглянув на начальника милиции. Потом медленно и тяжело поднялся с бревен и неторопливо направился к дому. Он сразу постарел на несколько лет. Обгорелые полы пиджака ключьями трепыхались на холодном ветру. А он, известный учитель, более двадцати лет проработавший директором в этой школе, был похож в отблеске остатков пожара на бездомного бродягу.

Дома ему помогли умыться, перебинтовали ожоги. Он сидел на диване, опустив голову. Перед его глазами все еще, видимо, стоял пожар, он слышал крики людей, растаскивающих горелые бревна, треск и грохот падающих стропил... Запах гари, пепла все еще доходил в комнату старого учителя.

В том, что пожар начался по его вине, Петр Алексеевич не сомневался нисколько. Директор школы сказал об этом и милиции. Старый учитель хорошо помнил, как вечером, ровно в шесть, он открыл школу и, не спеша, отомкнул замок в двери кабинета. Было холодно. При такой температуре много не поработаешь. А дел было предостаточно. Еще неделю назад, когда он ездил в Чебоксары — в Министерство просвещения, в редакции газеты «Знамя коммунизма» его попросили написать статью, в которой он, как директор школы, должен был поднять большой разговор об эстетическом воспитании школьников. Тогда ему сказали: «Мы считаем, что опыт вашей школы в этой части заслуживает внимания». И очень просили, как можно побыстрее написать. Вот он и решил в тот вечер поработать над статьей. Материалы все были в кабинете, и Петр Алексеевич пошел в школу. Директор хорошо знал, что во время зимних каникул в школе никого нет и никто ему не будет мешать. Тем более, что дома в эти дни было довольно шумно. Из Цивильска приехала младшая дочь с тремя детьми, которые не только не давали сосредоточиться над статьей, но даже отрывали от чтения книги. Младший внук ле-

зет дедушке на шею, другой тянет за полу пиджака, а третий сорванец без конца зовет играть в прятки. И так целый день. Играть-то с ними дедушке было одно удовольствие, но ведь и дело не ждало. Вон уже и неделя прошла...

Петру Алексеевичу скорее хотелось сесть за статью. Он принес дрова, затопил печку. «Через час здесь будет не Сирмабосинская школа, а настоящий Ташкент!» — подумал он про себя и, не снимая пальто, сел за стол.

Когда пришло время закрыть у печки задвижку, Петр Алексеевич написал уже пять страниц. В кабинете стало совсем тепло. Он разделся. Пальто повесил на вешалку, походил по кабинету взад-вперед, выкурил несколько папирос.

Старый педагог написал уже больше половины статьи, перечитал написанное, кое-что поправил, остался доволен. Хотел поработать еще, но, взглянув на часы, удивился — было около одиннадцати. Тогда Петр Алексеевич решил пойти домой. Он выключил свет, запер двери и вышел на улицу.

Погода стояла морозная. Было слышно даже, как порой потрескивают бревна изб, деревья, посаженные перед школой. Чуяло, видимо, сердце: отойдя немного от школы, Петр Алексеевич обернулся и довольно долго любовался новым, выстроенным только в позапрошлом году зданием. Чувствовало, наверное, сердце старого учителя, что в последний раз видит он свое детище. Это была восьмилетняя школа. В ней сто семьдесят шесть мальчиков и девочек набирались знаний. Здесь их учили любить Родину, уважать труд, постигать науку...

Не успел Петр Алексеевич лечь в постель, как по деревне полетели крики: «Пожар! Пожар!» и кто-то неистово застучал по сигнальной рельсе, раздался выстрел из ружья...

Петр Алексеевич вскочил с постели и почему-то сразу подумал о школе... А дальше все произошло, как в страшном сневидении...

Вот сидит он теперь на диване, сжав виски трясущимися руками, и чувствует, как весь пропитан запахом пожарища. Рассвело уже давно, а он все сидит. Ни жена, ни дочь, ни внучата не знают, что ему сказать, как утешить. А он чувствует только одно — запах горелого и слышит тревожные голоса людей.

После того как пожар был потушен и в снегу остались шипеть почерневшие головешки, люди начали медленно расходиться. Павел Ефремов, широкоплечий чубатый тракторист, прославленный на всю республику, пошел провожать свою Лизук, истопницу школы до ее дома. Оба они, как и многие участвовавшие в тушении пожара, измазались сажей, пропахли дымом. Намокший подол платья девушки затвердел на морозе и звонко хлопал ее по коленям. Молодые люди шли молча, опустив головы, словно незнакомые.

— Что же теперь делать?— не выдержала наконец Лизук и остановилась. Она смотрела на Павла испытывающе и почему-то даже со страхом.

— Не знаю!— пожал плечами Павел после долгого молчания.— Может быть, это я виноват. Я ведь несколько раз курнул. Но Петр Алексеевич все взял на себя. Я сам слышал, как он сказал начальнику милиции: «Следствия не надо. В школе, кроме меня, никого не было».

— Правда, так сказал?— обрадовалась, но тут же смущенно потупилась девушка.— Ну, слава богу! Фу!.. А я так перепугалась, Павел... Ты понимаешь...

— Ты что, в бога веруешь?— перебил Павел и зло посмотрел на Лизук.

— Нет, ты что, это я просто так, к слову, сказала. Понимаешь, я очень перепугалась...

— А теперь, выходит, обрадовалась? А если кто-нибудь видел? Ведь мог кто-нибудь увидеть, что после кино мы зашли в школу?

— И то правда...— Она снова посмотрела на Павла со страхом, но тут же нашлась:— Нет, Павел, я помню, тогда на улице никого не было. Правда-правда. Я специально осмотрелась, когда входили в школу, решила: «Подумают невесть что, если увидят нас вместе». Ведь все что хочешь может прийти в голову, когда среди ночи парень с девушкой прокрадываются в пустую школу. Правда же? Вот я и осмотрелась... Никого не было, ни души... Да если кто и видел, что тут страшного? Один свидетель еще ничто для закона... Да и Петр Алексеевич, говоришь, сам признался. Никто не станет копаться. Молчи, Павлуша, ради бога, молчи! Петру Алексеевичу все равно ничего не сделают, он уже старый, только разве на пенсию проводят да сколько-нибудь заплатит

заставят. А тебя ведь и в тюрьму могут посадить! Ради бога, молчи, Павел!

— Ты что сегодня все бога вспоминаешь?— снова осадил Лизук Павел.— Думаешь, он нам за это грехи отпустит?

— Да я к слову... Петр Алексеевич пришел в школу, затопил печку, что-то писал, курил... и вот... Неясно, что ли? Если надо, мы это и сами можем подтвердить!— вкрадчиво шептала девушка и все теснее прижималась к парню.

Павел захохотал. Лизук закрыла лицо руками.

— Здорово же ты придумала: из-за нас, может быть, и школа сгорела, а мы, оказывается, еще и свидетели!..

— Аж голова кругом идет. Я сама не знаю, Павлуша, что говорю. Не сердись... Я за тебя боюсь... Ну, обещай мне, Павел, что никому ничего не скажешь?

Ефремов отвернулся, молчал. Лизук потянула его за рукав.

— Пропадешь ведь, если проговоришься, что мы там были! Неужели меня не пожалеешь?! Как мечтали с тобой быть вместе! А сейчас в сторону смотришь... Значит, врал ты мне все, обманывал? А сам даже капельку меня не любишь... Ну, скажи, жалеешь ты меня, любишь?

— И жалею, и люблю, Лизук! Но...

— Раз так, дай слово, что никому ничего не расскажешь!

— Ладно, Лизук, переждем денек-другой, может, нас и вправду никто не видел...— с трудом проговорил Ефремов и отвернулся.

— Павлуша, любимый мой,— и девушка крепко обняла парня за шею и поцеловала.

— Ладно, ладно. Иди, спи. На меня ты всегда можешь положиться,— уже более твердо сказал Павел и побрел к себе домой.

Несмотря на распахнутый ворот, Ефремову было жарко. Хотя он и успокоил Лизук, что будет молчать, однако сейчас был сам себе мерзок.

«Как же все могло случиться?»— ломал он голову и тут же вспомнил, как много холодных — Павел это помнил очень хорошо — окурков лежало в пепельнице на столе директора. Много их там было, целая куча. Павел тоже выкурил несколько папирос, окурки бросил в ту же пепельницу... А перед тем, как выйти из кабинета директора, он вмял в кучу окурков свой, последний...



Теперь-то ясно, что окурок этот был не потухший. Когда Павел и Лизук ушли, от него загорелись и другие, потом один упал на скатерть, и... так начался пожар. Как развивались события дальше, могла рассказать даже самая плохая гадалка, не заглядывая в карты.

Павел остановился и застонал, в бессильной злобе начал ругать и себя, и Лизук. Это она подала мысль пойти в школу после кино. После окончания фильма молодежь не захотела сразу расходиться по домам. Парни сдвинули скамейки к стенам, притащили баян, и начались танцы... Когда они выходили из клуба, была половина двенадцатого. Это Павел хорошо запомнил, потому что заведующая клубом все кричала: «Пора, молодежь, домой, уже половина двенадцатого!»

По дороге Павел рассказал Лизук, что в колхозе скоро начнет работать агрохимический кружок. И тут, к слову, вспомнил про газету «Сельская жизнь», где был напечатан о нем очерк с портретом.

Павлу очень хотелось иметь этот номер газеты. Что ни говори, не так-то часто печатают в центральной печати портреты и статьи о чувашских механизаторах! Желая приобрести еще один свой портрет, Павел решил вырезать его из газеты, вывешенной в правлении колхоза. Но за этим делом, не достойным его положения, Павел был пойман на месте преступления самим председателем колхоза. От стыда знатный механизатор не знал куда и деваться, а председатель продолжал нажимать на него:

— Тебя вся страна знает, а ты газету свою родную не выписываешь! Что могут подумать о тебе остальные колхозники? Удивляюсь я на тебя, Павел!

Улучив момент, Павел все же решил как-то оправдаться и сказал, что на этот год он не успел подписаться, был в командировке, а вот на следующий год он уж заранее позаботится. А надо будет — он квитанцию принесет и покажет самому председателю.

— Да не надо мне квитанции показывать, — смягчился председатель. — Я ведь тебе почему говорю? Тебе самому важно, чтобы твой портрет здесь дольше повисел. Ведь больше людей увидят, прочитают, да и соседи пусть смотрят. Смекаешь мою стратегию? А то заберешь себе — и все!

Павел, хоть и соглашался с председателем, однако очень хотел иметь свой портрет и статью при себе.

Обвращаясь из клуба, он обо всем этом и рассказал своей Лизук.

— Ой!— воскликнула девушка.— Ты бы давно сказал мне об этом! В школе у нас есть подшивка этой газеты. Пойдем и вырежем твой портрет. Я тоже хочу посмотреть!

Павел охотно согласился. Вот так они оказались в школе, в кабинете директора школы, где обычно хранились все подшивки газет.

— Как тепло-то здесь!— заметила Лизук, открывая дверь кабинета директора.— Петр Алексеевич, видно, был здесь и топил. Вон писал он тут что-то. Работал, наверное...— Лизук по привычке заглянула в печку, проверила задвижки, быстренько прибрала на столе, подмела возле печки и положила перед счастливым Павлом подшивку газеты «Сельская жизнь».

Парень быстро нашел нужный номер и сказал не без гордости:

— Во, гляди на своего тракториста! Интересно бы узнать, сколько экземпляров выпускают этой газеты?

— Какой ты у меня красивый здесь...— пропела над ухом парня Лизук и обняла.— Теперь все девчата будут завидовать мне!

Долго сидели влюбленные рядышком, мечтая о будущей жизни, смотрели журналы, слушали радио...

Павел теперь уже нисколько не сомневался в причине возникновения пожара. Он точно вспомнил, что еще там, в кабинете, ему показалось, что папироса не потухла. Он хотел проверить, но забыл, так как Лизук обняла его и стала целовать, приговаривая: «Ты у меня самый лучший, самый любимый...» Он решил, что перед уходом обязательно проверит окурок, но забыл... А вот теперь все встало перед глазами до мельчайших подробностей.

Павел буквально остоленел на месте и не замечал, что мороз крепко коснулся носа и кончики пальцев рук задеревенели. Он был сейчас один в этот поздний час на стуже и не знал, что же ему делать...

* * *

На другой день из Чебоксар прибыл министр. Никто не сказал Петру Алексеевичу ни одного обвинительного слова. Наоборот, все сочувствовали старому учителю, жалели его и старались меньше говорить о пожаре. Од-

нако до выяснения причин и соблюдения всех судебных формальностей его освободили от заведования школой. Все равно школы уже не было, но смещение с поста директора все же сильно ударило по самолюбию Петра Алексеевича. Тем более, что нашлись и такие, которые открыто говорили, что ему уже давно пора было уходить на пенсию.

Но Петра Алексеевича волновала не личная судьба. Он рассуждал так: «Я отработал свое честно, выучил тысячи ребят, большинство из них стали настоящими людьми, хорошими, грамотными специалистами. Меня уважали, а может быть, и любили... Кого же назначат директором вместо меня? Ведь директор школы — это отец большого разнохарактерного семейства. Как он сумеет найти контакт с учителями и учениками, так и будет поставлен процесс учебы. Дети ни в коем случае не должны страдать из-за случайных педагогов...»

Уезжая, министр оставил распоряжение: в течение недели необходимо обеспечить школьников помещением для учебы. Колхоз предложил занять под школу клуб и правление. «У меня и свой дом не меньше конторы правления, там мы и будем пока работать,— сказал председатель колхоза и добавил:— Если, конечно, народ не будет возражать...»

После отъезда министра Петр Алексеевич вернулся домой поздно вечером. Когда он шел, видел много ребят, бегающих по улице, и чувствовал себя виновным перед ними. Из каждого окна, как ему казалось, смотрели на него с укором. Разбитый душевно; усталый физически, старый учитель молча подсел к столу. Внуки, как обычно, не бросились к нему, они тихо играли в соседней комнате. Жена, Елена Ивановна, степенная седовласая женщина, принесла из кухни ему ужин и присела к столу рядом на свободный стул.

— Боюсь, что директором назначат Виталия Яковлевича,— вздохнув тяжело, сказал Петр Алексеевич.— А он в директоры не годится, Леночка, нет, не годится. Беспринципный, болтливый, а дела нет. Хорошо, если бы поставили Михаила Петровича. Он, конечно, молод, но умен. Из него со временем добрый директор получился бы. Горяч, настойчив...— помешивая ложкой суп, говорил неторопливо старый учитель. Потом отставил тарелку в сторону, придвинул к себе жареную картошку. Посмотрел, понюхал и недовольно заметил:

— Елена, почему-то картошка горелым пахнет...

— Да нет же, не подгорела она. Я сама ела, да и все, никто ничего не говорил,— удивленно взглянула на мужа Елена Ивановна.

— Прости, пожалуйста, тогда... Но я хорошо чувствую, Леночка, что горелым пахнет... Да и от вещей тоже почему-то горелым пахнет... Ты не в доме ли держишь мои обгорелые вещи?— спросил Петр Алексеевич.

— Да нет. Все висит в сенях. Я сразу же вынесла, в тот же день...

— Ты понимаешь, Леночка, мне кажется, что и от меня до сих пор пахнет горелым. Пожалуйста, истопи завтра баню...

Елена Ивановна положила руку на плечо мужа, ласково взглянула ему в глаза.

— Да это все тебе кажется, Петр,— сказала она, с трудом сдерживая слезы.— Просто кажется... Ни от еды, ни от вещей, ни от тебя не пахнет никаким горелым... Да ты ешь, ешь. Даже если не хочется, то все равно поешь... Ведь тебе надо силы поддержать...

— Да нет, Леночка, не идет... Не могу съесть ни крошки... Просто не хочу...

* * *

Сирмабосинский клуб уютен и просторен. В этом здании размещается правление колхоза, библиотека. В библиотеке стоит длинный стол, покрытый зеленым сукном. На нем лежат газеты, журналы, шашки, шахматы. Зимой здесь всегдалюдно.

И сегодня здесь собралось много сельчан. Одни читают газеты, журналы, а другие, забыв обо всем, сражаются в шашки и шахматы.

— А вы слышали, что в клубе теперь будет школа?— кто-то неожиданно нарушил тишину.

— Слы-ха-ли,— ответило несколько голосов, но никто не поднял головы. По тону было ясно, что эта новость в общем-то никого не удивила.

— А правление колхоза, слышь, будет теперь в доме у самого председателя?

— И это слышали... И это знаем... Ну как?.. Вышло? Что ни говори, а тебе мат!

— Интересно, где же теперь будем кино смотреть? Где спектакли ставить будем или лекции слушать? Ну, скажи, где?

— Посоветовать здесь что-нибудь трудно. Ну, на спектакль, скажем, можно съездить и в Чебоксары — ведь всего каких-то сто километров. Насчет лекций — не знаю... Будем ходить в райцентр — всего четырнадцать километров...

— Нет, если так, то я лучше свой дом под школу отдам. Что это за жизнь без кино, лекций, спектаклей? — выкрикнул широкоплечий Кирилл Ягудин, весельчак и заядлый гармонист. Он недавно женился, отделился от отца, поставил просторный пятистенный дом.

— А сам где станешь жить? — усталились на него все.

— Пойду к отцу! Думаете, не примет? Это же на время только, до лета. А за это время построим новую школу...

Все задумались, замолчали. Сейчас здесь в основном была молодежь, и для них вопрос о клубе был делом серьезным. Легко говорить — поедem в Чебоксары, кино будем смотреть у соседей. На самом же деле все это гораздо серьезнее и сложнее. Всем было ясно, что без клуба нельзя, и поэтому предложение Кирилла заслуживало внимания.

— Об этом надо поговорить с комсоргом, — сказал полевод Илюша, щуплый, весь в веснушках паренек.

— Тоже мне — с комсоргом, здесь надо не с комсоргом, а с самим Анатолием Михайловичем, парторгом, говорить. Тогда, может быть, что-то и получится! А может, и вправду отдать под школу некоторые дома, а? Восемь классов — восемь домов. Сам я, если не смогу отдать свой дом, так смогу хоть предоставить жилье тем, кто отдаст свой дом под школу. Да и учиться будет трудно ребятишкам в клубе. Ну, скажем, перегородят зал на классы. Но ведь сквозь тонкие доски-то все слышно! Какая уж тут учеба! Мыслимое ли дело при таких условиях учиться!

— Почему ты, Илюша, говоришь, что восемь домов? Ведь правление будет в доме Петра Ильича, а тут в конторе как раз два класса разместятся. Так что не восемь, а только шесть домов потребуется!

— Тоже правильно! Но тут другая заковыка. А как быть с учителями? Как они станут с урока на урок бе-

гать по домам из конца в конец деревни? Они не успеют за десять минут.

— Ну, это решить можно: не успеют за десять, сделают перерыв на пятнадцать минут! Из-за этого мир не перевернется.

Парни, перебивая друг друга, предлагали самые различные варианты распределения учеников по частным домам, лишь бы сохранить клуб для молодежи.

— Пошли к парторгу!— снова подал голос Илюша.— Он решит, что к чему.

— Постой-ка, постой!.. Давайте все же сначала поговорим с Георгием, все же он наш комсорг. К парторгу надо идти от имени комсомольской организации: так, мол, и так, молодежь не хочет отдавать клуб. В наше время жить без клуба — это все равно, что не иметь электричества... И еще... Надо объяснить, что учеба в клубе для ребят тоже не дело. Им гораздо будет лучше учиться в отдельных классах. Правильно говорю?

— Правильно! Пошли искать Георгия. Может быть, он сейчас дома?

— Нет, по-моему, он пошел на ферму. Побежали туда...

* * *

На следующий день рассыльные обошли все дома Сирмабоси с приглашением на общее собрание. Народу собралось в клубе столько, что яблоку некуда было упасть. Когда избранные в президиум заняли места, на сцене за столом, покрытым красной материей, поднялся председатель колхоза Петр Ильич. Ритмично ударяя свернутой газетой по валенку, он кратко напомнил о пожаре, сказал о том, что сто семьдесят шесть ребят, будущих строителей коммунизма, он особенно акцентировал внимание присутствующих на словах «строители коммунизма», ждут решения народа о продолжении их учебы. Потом он так же спокойно и обстоятельно заговорил о планах, некоторых предложениях колхозников.

— Сначала мы,— сказал председатель,— решили было отдать под школу клуб. Думали перегородками разделить классы. И еще я хочу, с вашего разрешения, перевести правление колхоза в свой дом.— По рядам пронесся гул одобрения.— Я понял вас,— улыбнулся председатель.— Правда, жена не очень рада этому. Но что

поделаешь — жизнь диктует свое. Конторское имущество перевезем завтра же. А вот с клубом у нас несколько расстроилось. Об этом, наверное, почти все слышали?

— Слышали!

— Знаем!.. — раздались голоса.

— Знаете или не знаете, а я еще раз скажу об этом, товарищи колхозники. Понимаете, молодежь возражает против того, чтобы отдать клуб. У них есть другое предложение. А сделал его лучший колхозник, наш молодой активист Кирилл Тимофеевич Ягудин. Я, говорит он, не могу жить без клуба — спектаклей, концертов, кинофильмов, лекций, докладов, а поэтому, если вы отдадите клуб под школу, на другой же день уеду в город. Да-да, так и сказал: «уеду-у», — перебивая крики, повторил председатель. — Товарищ Ягудин предлагает клуб оставить клубом, а под один класс отдает собственный дом. А дом, который мы ему строили, все знаете, — отличный, светлый дом. И вот он взбудоражил молодежь своим заявлением, и парни теперь не дают дышать мне, парт-оргу, всему правлению. Мало там дышать, товарищи, работать не дают! — Голубые глаза Петра Ильича хитро улыбались, и он в том же тоне продолжал: — Настоящий бунт подняли они со вчерашнего дня. Вот мы и решили собрать общее собрание, чтобы всем вместе посоветоваться по этому вопросу. Товарищ Ягудин должен быть где-то здесь, я его вам и отдаю, хоть бейте его, хоть по головке погладите...

— Правильно предлагает Кирилл! Мы не можем жить без клуба! — закричали сгрудившиеся в одном углу парни.

— Тихо, тихо! — поднял руку председатель. — Я же не окончил еще свое выступление. Товарищи Кирилла Тимофеевича тоже подходили ко мне с предложением отдать свои дома под классы. Но этих я прямо-таки повыгонял из правления. Как же это так? Или они совсем разучились уважать старших?

Не понимая еще, куда клонит председатель, народ зароптал.

— Тихо, поясню. Ну, товарищ Ягудин, скажем ладно, он сам хозяин дома. А остальные как? Не спрашивая родителей, отдают дома! Согласны ли их родители, нет ли — мы же ничего не знаем. Поэтому сегодня нужно над всем поставить, как говорят, точки. Правда, после прихода ребят мы и сами поняли, что учиться ребятиш-

кам в этом клубе будет не очень удобно. Сами подумайте: что это за классы, перегороженные досками?! В одном закутке громко читают стихи, а в другом будут рассказывать, ну к примеру, про Чингиз-хана, а в третьем учительница порядок наводит да кричит: «Иванов, не озоруй!» Разве это учеба? Это будет не школа, а базар. Вот поэтому мы и хотели бы сегодня узнать мнение членов нашего колхоза. Может быть, найдутся такие, которые поддержат предложение товарища Ягудина и временно тоже уступят под классы свои дома? Ведь речь, товарищи, идет об учебе наших детей, об их судьбе. Подумайте, выскажитесь... В общем, давайте обсуждать и, как всегда, большинством голосов и решим. Вопрос серьезный, поэтому требует и серьезного подхода. Я кончил.— Председатель сел на свое место, снова оглядел клуб, гудевший, как улей, и спокойно принялся что-то писать на бумаге.

* * *

Павел Ефремов на собрание опоздал. Он кое-как протиснулся к стене и оглядел президиум, солидно сидевший за столом, кивнул знакомым, улыбнулся кое-кому. Павел любит слушать выступления председателя. Петр Ильич всегда говорит с юморком, хлестко, без витиеватых намеков. Но сейчас слова председателя почему-то плохо доходили до его сознания и не волновали его. Он даже не особенно отчетливо слышал оратора. Первые же слова о сгоревшей школе оглушили его, и сейчас Павел видел перед собой груды обгорелых бревен и сидящего на одном из них директора школы — подавленного, отчаявшегося человека. Ефремов почувствовал, что Петр Алексеевич где-то здесь. Он посмотрел направо и сразу же увидел сгорбленного, сидящего недалеко от него, теперь уже бывшего, директора школы. Горячий комок подкатился к горлу, неведомая сила сжала грудь... Павел поспешно отвернулся... Он уже не слышал последних слов Петра Ильича, одобрительного гула собрания. «Зачем собрался здесь сегодня весь народ? Говорят про сгоревшую школу? А почему не про него? Ведь он виновен во всем. Тогда почему же никто не обратил внимания на его приход? Может быть, нарочно не смотрят на него, ждут, когда заговорит он сам? А где же Лизук? Она тоже должна быть здесь?..»

Павел опять повернул голову и снова увидел Петра Алексеевича. Старый учитель сидел по-прежнему сгорбившись, изредка поправляя очки. Теперь уже со сцены говорили колхозники. И каждый вел речь о том, что готов отдать свой дом под школу или пустить на квартиру к себе кого-нибудь.

Все выступающие ни разу не упрекнули недобрым словом главного виновника — старого учителя, по чьей вине дети остались без школы. Ефремов заметил, как Петр Алексеевич то и дело вытирал глаза белоснежным платком. Больше Павел не мог вынести. Он шагнул вперед, растолкал стоящих впереди людей. На него зашумели, дернули за пальто, но Павел растолкал следующих и шагнул к сцене. В это время председатель вышел из-за стола и сказал:

— Хватит, товарищи. Здесь уже выступило двенадцать человек, и все двенадцать согласились уступить свой дом под классы и дать квартиры. А нам, как я уже говорил, нужно всего шесть домов...

— Дай мне слово, Петр Ильич! — побагровев, прохрипел Павел и вскочил на сцену.

— Что с тобой сегодня, Павел?

— Может, опьянел, после того, как его портрет в газете поместили? — сострил кто-то из парней.

— Да оставьте вы меня, — отмахнулся Павел. — Не пьян я... Товарищи, — начал Ефремов взволнованно и споткнулся. Но все-таки нашел в себе силы и заговорил снова: — На последнем ряду сидит Петр Алексеевич. Сидит и плачет. Я стоял и думал: о чем он плачет? Почему? Думал, думал и понял. Здесь выступило двенадцать человек, и все согласны отдать свои дома под школу. Желающих уступить свои дома здесь еще много. Вот почему плачет Петр Алексеевич. От радости за всех плачет наш учитель! Он радуется за всех вас, мужчин и женщин, парней и девушек, за ваши добрые сердца... Говорят, что пожар начался по вине Петра Алексеевича. Он там топил печку, писал, курил... Да, все это так! — Павел торопился, задыхался. — Кроме него никого будто бы не было в школе... Петр Алексеевич слишком честный человек, вот и принял вину на себя...

— Говори толком! Ясней! — закричали в зале.

— Я сам слышал, как он сказал начальнику милиции, что в пожаре виновен только он и никто больше. А на самом деле виновник пожара не Петр Алексеевич,

а я...— Павел стоял взмокший и смело смотрел людям в глаза.

В клубе стало тихо-тихо. Люди боялись шелохнуться, точно прилипли к стульям. Потом вдруг все разом загалдели, многие повскакали с мест, пытались пробиться на сцену, но теснота и давка помешали этому.

— Тихо, товарищи, я все сам объясню,— теперь уже совершенно спокойным голосом продолжал Ефремов.— Я еще раз повторяю, что в причине пожара виновен я. Да-да, я. Петр Алексеевич ушел из школы еще до одиннадцати. А мы с Лизук вошли в школу около двенадцати. Это я хорошо помню. Мне надо было взять в школе номер газеты «Сельская жизнь». Когда мы вошли, в кабинете директора — Петра Алексеевича — был полный порядок... Как сейчас помню, Лизук еще проверила — все ли в порядке с печкой... Только в пепельнице было много окурков. Мы посмотрели журналы, послушали радиоприемник... Так вот, я и оставил в той переполненной пепельнице непотушенную папиросу. Я все собирался взять этот окурок и потушить... Но так и забыл...— Павел покраснел и опустил голову.— А после нашего ухода этот окурок, видно, разгорелся и упал с пепельницы на сукно... Я бы должен, товарищи, сразу об этом рассказать, но смалодушничал... Четвертый день душит меня запах пожарища. Куда не иду, всюду вижу пожар. Только сейчас, вот как рассказал вам, я вздохнул свободно. Судите меня... Что хотите со мной делайте. Петр Алексеевич не виновен... Автомашину я хотел купить, и деньги уже были собраны, вот они, пять тысяч— отдаю их вам. Может, и дом придется продать...— Павел положил толстую пачку денег на стол перед председателем, сошел со сцены и медленно пошел к выходу.

Когда закрылась за Ефремовым дверь, тишину прорезал душераздирающий плач Лизук:

— Павлуша, что же ты наделал!..

ВСТРЕЧА НА ВОЛГЕ

На земле есть места, известные каждому человеку. О них пишут, поют в песнях, рассказывают легенды, сюда любят ездить артисты, писатели, художники... Как правило, такие знаменитые места расположены на берегах теплых морей, где растут пальмы и кипарисы, а

небо всегда безоблачно. Например, кто не знает такие города, как Сочи, Ялта, Гагры? Даже ученик первого класса или какой иностранец и те могут довольно обстоятельно рассказать об этих прекрасных местах отдыха.

У нас, в Чувашии, тоже есть неповторимые места для отдыха. Одно из них — Кувшинка. Конечно, по значению и знаменитости я не сравниваю ее с курортными городами Крыма или Кавказа. Но для меня лично нет ничего красивее и дороже Кувшинки. Я готов биться об заклад, что в Чувашии нет человека, который не знал бы Кувшинку. Деревня Кувшинка расположена в восьми километрах от Чебоксар, вниз по Волге, в сосновом бору. А до дома отдыха «Кувшинка» от деревни чуть больше версты. Места эти сказочно красивы и располагают человека к уединению.

Прошлым летом я прожил больше месяца в этом доме отдыха. Рядом чувашская писательская организация построила свой дом творчества. Композиторы решили не отставать от своих коллег и открыли свой пансионат. И в этих двух домах творчества все лето работают и отдыхают писатели и композиторы. В основном, конечно, люди здесь работают. Ну, а когда устают, у них есть возможность побродить в сосновом бору, покататься на Волге, порыбачить на озере Линевом, покататься на лодке, позагорать на солнце, нежась на мягкой ковровой траве. Я уж не говорю о липовых рощах, лугах, пестрящих от разноцветья, и о соловьиных трелях с первыми лучами солнца. Одним словом, есть возможность отлично отдохнуть.

Здесь мне довелось поближе познакомиться с композитором Григорием Былинниковым, известным песенником, человеком лет тридцати пяти, хотя на вид ему можно дать и все сорок.

Григорий Былинников — чуваш, но постоянно живет в Москве. За это многие упрекают его. На что он отвечает словами поэта: «Гении рождаются в деревнях, а умирают в столице». Ну а я в этом ничего плохого не вижу. Лишь бы он не забывал свой народ, а столичные корифеи музыкального искусства положительно влияли на него. Пока все идет хорошо. Наш Григорий глубоко изучает культуру своего народа, на этой основе создает прекрасные современные песни, и о нем говорят, как о самобытном таланте.

Былинников, как мне кажется, даже внешне похож

на представителя той музыки, которой служит. Он невысок, строен, быстр в движениях, изящен в разговоре. Но бывают периоды, когда Григорий один часами бродит по лесам, лугам, забвенно слушая пение птиц.

Здесь, в доме отдыха, я узнал любопытную деталь из композиторской биографии Былинникова. Оказывается, он дважды поступал в консерваторию. В первый раз Григорию вообще сказали, что он не имеет никакого музыкального таланта. Однако Былинников не пал духом. Целый год он усиленно занимался теорией музыки, брал уроки у ведущих музыкантов. А на следующий год был зачислен в консерваторию как талантливый, с большими возможностями абитуриент. И, как показала жизнь, экзаменаторы на этот раз не ошиблись.

Встретились мы с ним при довольно интересных обстоятельствах. В Кувшинке тогда стояла изумительная погода. Над рекой носились стрижи, в лесу стоял веселый птичий гомон, перебиваемый тоскливым кукованием кукушки. Сосны, прямые, как свечи, янтарились подтеками смолы. Запахи хвои, цветов, борщовника, болиголовы благоухали на десятки километров. Меня охватило чувство нежности и непреходящей любви к этой красоте. Я невольно вспомнил детство, свою деревню и такие же красивые места. И очень жалко стало, что тогда мы еще не умели ценить неповторимую красоту нашей природы. Нам казалось, что так красиво везде и так должно быть. И как мы глубоко ошибались.

...В тот день, после обеда, я поднялся по берегу Волги немного вверх и лег на свое любимое место — под молодой ольхой. Солнышко припекало, изредка с Волги набегал теплый ветерок, пели птицы, гудели золотистые пчелы и осы, стрекотали прозрачными крыльями пучеглазые стрекозы, заунывно наигрывали свою музыку кузнечики. А неподалеку стоял обессиленный, изнуренный жарой лес.

Неожиданно возле меня появился Былинников. Он, видно, тоже вышел прогуляться.

— Посидите, отдохните, — предложил я ему. — Здесь райский уголок. Лежи и лежи вот так, блаженствуй, никто тебе не мешает.

Он бросил рядом со мной маленькую книжку, которая была в его руке. Это оказался новый сборник стихов поэта Корнилова. Он тоже отдыхал в то время в Кувшинке.

— Да, место вы выбрали отличное, прямо скажем, отменное,— снимая рубашку, заметил он.— А я надеялся, что буду здесь первый. Жара. Не искупаться ли?

— Я тоже об этом подумываю,— и тут же спросил, взглянув на книжку:— Как понравился Корнилов? Наверное, ищите стихотворение, которое можно было бы взять для песни?

— С этой целью и просматриваю. Мне вчера Корнилов подарил с автографом. Но жаль, не нашел пока для себя ничего. Понимаете, поэт каждую вещь должен писать душой, а Корнилов, как мне кажется, пишет больше холодным расчетливым умом. Пусть он не обижается на меня, но философия в его творчестве мелкая, приземленно-бытовая. Скажем, он купил ботинки в магазине, значит, и нужно писать об этом. Вот, например, как у него ассоциируется покупка ботинок. Целый процесс изготовления. Ботинки шьют из кожи, а кожу выделяют из шкуры... И дальше он глубокомысленно развивает эту мысль. Так, оказывается, несколько лет тому назад жила на свете одна красная корова, у нее было вкусное молоко, люди пили это молоко. А может быть, иногда пил его и Корнилов. А сейчас вот кожаные ботинки, сделанные именно из кожи этой коровы, носит он — поэт. В них он ходит по чебоксарским улицам. Может быть, его ноги, обутые в эти ботинки, через месяц оставят след или на сибирской земле или на камнях парижских улиц.... Вот так он пишет...

Былинников покачал головой, засмеялся и, аккуратно положив белоснежную сорочку на траву, сел рядом со мной.

Я сказал ему, что Корнилов и в жизни странноватый человек.

— Ну и пусть. Зачем же делать странными остальных, да еще за это получать деньги?— уже возмущенно закончил композитор.

На время мы оба замолчали, лежа на спине и глядя в небо. По небу ползли жидкие перистые облака. Где-то высоко-высоко, точно подвешенный на невидимой ниточке, трепыхался жаворонок и заливался веселой трелью.

Неожиданно со стороны леса послышалась песня. Мужской голос фальшиво выводил мелодию известной песни. Песня была о том, как парень любил девушку, а потом забыл ее...

Мы подняли головы и увидели Захара Корнилова.

Надо же было такому случиться! Ведь мы только что говорили о нем. Верно ученые говорят, что есть телепатия. Корнилов был в одних брюках, в черных очках, на голове — тубетейка.

— Кого я вижу! — вскрикнул он и бойко заговорил: — Союз музыки и прозы! А я, друзья, по лесу ходил, стихи писал, — не без гордости сказал он, подойдя к нам, — А теперь не мешает и искупаться! Как вы смотрите на мое гениальное предложение? А вот строчки будущего стихотворения:

Вершины сосен шумят,
Облака пляшут,
И медведь есть, и слон, и много кое-чего!

Как?

Мы молчали.

Он скинул брюки и зашагал к воде.

— Да, я написал стихи. Я сегодня сам видел, как пляшут облака!

— Да разве они только пляшут? Они даже надевают штаны! — крикнул я, но Корнилов, видно, не услышал моих слов. Он шумно бултыхнулся в воду.

Мы тоже решили искупаться. Вода была теплая и прозрачная. Течение в этом месте было довольно быстрое, и вся грязь уносилась вниз — к Новым Чебоксарам. Корнилов плавал плохо, а Былинников чувствовал себя в воде как рыба.

— Ну и плаваете же вы! — заметил я Григорию Былинникову, когда мы вышли из воды. — Как рыба. Когда-то я тоже любил заплывать далеко. Но в прошлом году судорога свела ноги, и я уже начал было тонуть. На мое счастье, меня заметил случайный рыбак. Не окажись этого человека, считайте, что сегодня вы плавали бы без меня.

— На белом свете все держится на «вдруг» и случайностях, — глубокомысленно сказал Корнилов. — Все-все совершается случайно. Если бы тогда ветер дул не в эту сторону, здесь бы не выросла ольха и мы не лежали бы под ней и не загорали. Разве я неправильно говорю?

Мы невольно рассмеялись.

— Напрасно смеетесь. Все равно в природе, в жизни все держится на случайностях, — утверждал серьезно поэт.

— И появление поэта Корнилова на свет тоже явление случайное?— шутливо спросил я.

— Ясно случайное,— подтвердил он.

Чувствуя, что в споре с ним все равно не найти истины, я решил прекратить бессмысленный разговор и, как Былинников, отвернулся от поэта.

Мы все, как сговорившись, замолкли, каждый думая о своем. Только было слышно жужжанье пчел, шмелей, да трель жаворонка. И вдруг неожиданно заговорил Былинников:

— А я частично согласен с вами. В жизни многое зависит от случайностей,— сказал он спокойно.— У меня у самого, благодаря такой случайности, телега жизни покатила по другой колее...— Он перевернулся на спину, зажмурил глаза и продолжил неторопливо: — В молодости я всей душой стремился стать знаменитым скрипачом, мечтал об этом, а на самом деле вот стал не чем иным, как заурядным композитором... И сейчас мне кажется, что все это произошло от одной случайной встречи...

— Ну-ну? — Корнилов с любопытством уставился на Григория.— Любопытно, какая же это была встреча? Может быть, сюжетик интересный? Так сказать, любовь, вздохи?

— Вот в этом и вся загадка, что нет тут никакого интригующего вас сюжета,— ответил спокойно Былинников, по-прежнему задумчиво глядя в небо.— Давно это было. Вышел я тогда на пристань и увидел на палубе парохода грустную девушку. Она тоже заметила меня, и мы довольно странно, молча глядели друг на друга. Когда пароход тронулся, по щекам девушки покатались две, как бисер, слезинки... Вот начиная с этого дня в моей душе вдруг зазвучали мои мелодии, а не чужие, написанные другими... Банально и старо?— спросил он поэта.

— Очень интересно,— сказал Корнилов, усаживаясь поудобнее.— Здесь непременно какая-то тайна, чувствует моя душа. А кто была эта девушка?

— Не знаю. Я не видел ее больше никогда,— спокойно говорил композитор.— С тех пор прошло уже пятнадцать лет...

— Вот те на!— удивился поэт.— Это совсем неинтересно.

— Я предупреждал вас об этом. Только забыл ска-

зять, что тогда была осень и на душе у меня было тяжело, точно я нес мельничные жернова...

— Пятнадцать лет тому назад? Что же это были за «мельничные жернова»? — усмехнулся Корнилов.

— Да, пятнадцать лет тому назад, — повторил Былинников, глядя с удивлением на Корнилова. — Если хотите, послушайте... Я окончил музыкальное училище в Чебоксарах. Мой отец в свое время был известным дирижером. Но сын его, хотя и мечтал стать знаменитым скрипачом, не очень-то блеснул в училище способностями, и поэтому отец сказал ему тогда: «С годик поиграешь у меня в оркестре, наберешься опыта, а в следующем году можно и в консерваторию». Так я начал работать в оркестре филармонии. Ясно, настроение у меня было не из лучших. Многие мои сверстники были уже в консерватории.

Однажды в филармонию на мое имя пришло письмо. Жаль, что все эти письма я порвал. Но первое письмо я помню хорошо. Вы только не смейтесь и не перебивайте меня. Оно наивно, высокопарно, и в нем много девичьей легкомысленности. Итак, слушайте:

«Пожалуйста, не примите мою смелость за потерю девичьей гордости, не считайте дерзостью. Моя смелость и моя дерзость — все они оттого, что я очень вас уважаю, если хотите знать, ставлю вас даже выше бога... еще и оттого, что в сердце у меня полыхает к вам любовь. Вот уже два года, как я живу лишь одним вашим талантом, дышу с вами одним воздухом, вижу вас во сне.

Впервые я увидела вас два года тому назад на отчетном концерте музыкального училища. Вы тогда сыграли пьесу Большевицкого «Воспоминания». Я впервые увидела вас и сделалась вашей рабыней, а мне хочется быть добрым духом и витать возле вас! Когда вы дома или на сцене играете на скрипке, ее звуки достойны звенеть лишь в райском саду. Я бы вынула свое сердце и бросила его к вашим ногам! Я бы слушала, как вы, наступив на мое сердце, дарите людям божественную музыку...

Вы — моя жизнь, мое счастье! Природа одарила вас великим талантом скрипача, а я родилась на свет для наслаждения вашим талантом, радоваться и страдать... Как я боялась, что вы после училища уедете в другой город! Тогда бы для меня погасло само солнце, навеки исчезли бы на земле Стихи и Мелодии. А когда я вчера случайно увидела вас на концерте, от радости я чуть не

выбежала на сцену! Вы — мой бог! Вы никуда не уехали, а работаете в оркестре!

О, моя радость и мое горе! Теперь для меня этот небольшой старинный каменный дом на берегу Волги станет моей жизнью, моим храмом счастья, потому что по половицам этого дома прохаживаетесь вы, беретесь за ручки дверей... Теперь я не пропущу ни одного концерта, я буду наслаждаться, слыша среди десятков инструментов неповторимый голос вашей скрипки». Вот примерно какое письмо прислала моя неведомая фея, — улыбаясь, закончил рассказчик.

Потом Былинников посмотрел на меня, Корнилова, и в его глазах блеснули озорные искорки.

— Погоди-ка, — начал Корнилов, — я могу заранее сказать, что написала это письмо восьми — или девяти-классница. Ну, правду я говорю?

— Не знаю, — ответил Былинников, — не знаю. Во втором письме она сообщила о себе, что старше меня на год, синеглазая, учится в одном из чебоксарских техникумов. Если в первом письме она писала, что рада, что я остался в Чебоксарах, то во втором письме она уже написала о том, что ее беспокоят совсем другие мысли. Последующие письма я тоже примерно помню, если что изменю, то незначительно. Основную мысль этих писем я передам точно. Вот каково было второе письмо:

«Душечка ты мой милый, жизнь моя, счастье мое! Снова сегодня пишу тебе письмо. На сей раз белая бумага, лежащая передо мной, мокнет от горьких слез, темнеет от горестного света...»

— Во дает девчонка! — не удержался Корнилов. — Видно, крепко она втюрилась в тебя! Извини, что перебил... Давай рассказывай дальше. Везет же людям!

И Былинников продолжил:

«Счастлива была я до сегодняшнего дня. А сегодня твоя синеглазая Ленук — самая несчастная на свете, голубка с поломанными крыльями, иволга, потерявшая милого друга... В прошлый раз для меня было большим счастьем, что ты остался в Чебоксарах, что не поступил, как некоторые товарищи, в консерваторию, не уехал в чужой город. Но сегодня я поняла, какая я была эгоистка...»

— Вот тебе на! То по уши влюблена, то — эгоистка! — снова перебил рассказчика поэт.

— Да помолчи ты,— оборвал я Корнилова.— Сиди и слушай, комментировать потом будешь.

«Знаю, чую сердцем: ты родился на белый свет, чтобы стать знаменитым скрипачом. Чудится мне, что в тебе необыкновенный дар музыканта и силой своей музыки ты можешь воскресить мертвого, заставить плясать деревья, цветы. Ты ни капельки не похож на других, не легкомыслен, не хвастун. Но ты еще должен поверить в свои силы и стремиться к вершинам музыкального искусства. Это хорошо, что ты сейчас играешь в оркестре, но на другой год ты обязан поехать в консерваторию!» Так и написала: «Обязан поехать». Но послушайте дальше ход ее мыслей,— заметил композитор и продолжал читать письмо на память: «О, милый, как леденеет душа, когда я думаю об этом! Тогда я не увижу тебя на чебоксарских улицах, на концертах. Ты будешь далеко-далеко от меня, а я буду жить сиротой со своей тайной любовью, которая так и не нашла дорогу к сердцу милого. Лишь губы будут бесконечно шептать: «Григорий, Григорий, Григорий...»

— Послушай-ка,— уже в какой раз прервал рассказчика Корнилов,— вначале кажется, что все это глупо и наивно, но если взглянуть глубже, не без смысла, ведь ей-богу! Есть в этой девчонке что-то такое!

— Вот об этом я и хотел вам сказать. Посудите сами. Восемнадцатилетний парень, окончивший музыкальное училище, не веря в свои силы, остается вне консерватории, хотя с детских лет мечтал стать знаменитым скрипачом. Его товарищи уже учатся в Москве, Ленинграде, Саратове у знаменитых педагогов, а он сидит в оркестре, в группе вторых скрипачей, да и то благодаря отцу. Каково у него настроение? Счастлив ли он? Да что там говорить о счастье? Живет, стиснув зубы, и на скрипку не может смотреть, только терпит ее. О каком совершенствовании может идти речь? Именно в это время какая-то таинственная девушка пишет письмо, пишет, что любит его больше самой жизни, рада, что он остался в Чебоксарах. Каково, а? Конечно, от таких писем у парня вырастают крылья. Одно то, что его считают талантливым, уже много значит.

— Рассказывай, дальше-то что было! Встретил ты ее?— напирал Корнилов.

— Дальше я не буду подробно рассказывать о других письмах. Они были написаны тоже очень горячо,

взволнованно, не так, конечно, как рассказываю. В третьем письме, например, таинственная незнакомка даже попыталась предсказать мое будущее, каким оно будет через год. Теперь она уже смело писала о себе: мол, я голубоглазая, недурна собой, в ребятах отбоя нет, однако никто не нравится, так как ее сердце отдано другому — мне, значит. Скажу откровенно, что вначале я не принимал эти письма всерьез, хотя мне было лестно их получать. Но потом я уже привык ждать и почувствовал в себе уверенность и даже стремился стать лучше, талантливее, понимая, что кто-то наблюдает за мной со стороны. В общем, я хотел быть лучше, чем представляла меня себе неизвестная корреспондентка. Потом письма так заинтриговали меня, что я начал искать «свою» Ленук. У всех знакомых ребят спрашивал, кто знает девушек по имени Ленук. Знакомился с ними, исподволь узнавал их интересы, но так и не нашел «свою» Ленук.

За год я получил таким образом от нее больше десяти писем. В августе я поехал в Москву сдавать экзамены. Еще когда ехал, то на душе у меня уже было неспокойно. Я не был уверен в своих силах. Так оно и получилось. В консерваторию не поступил. Я не попал даже на подготовительные курсы. «Как теперь возвратиться в Чебоксары? Как показаться родителям, преподавателям, товарищам?» — думал я тревожно. Но страшнее всего было встретить незнакомку Ленук. Чувствуете, как глубоко она засела мне в душу? Я ее ни разу не видел, но уже боялся ее и стеснялся. Ведь она была единственным человеком, верившим в мой необыкновенный талант. Даже отец думал обо мне более скромно. Вот ведь все как обернулось. Как я ни хотел, а пришлось возвращаться в родительский дом. Домашние меня не упрекали ни в чем, но и не сочувствовали особо, чему я был очень рад. Если до этого я с волнением ждал писем незнакомки, то теперь я даже боялся, что они придут.

В ту осень душа моя очистилась от детской наивности. Я понял, что жизнь более серьезна, чем я думал.

Конечно, такое позорное возвращение из Москвы тяжелым камнем легло мне на душу. В доме все молчали, старались, как мне казалось, даже избегать со мной встречи.

— Ну, что ж, — сказал отец после трехдневного молчания, — человек обязан жить, если даже в жизни у него случилась беда. У тебя пока такой беды нет, значит, ты

должен быть энергичнее вдвое. Только не надо терять веру в свои силы. Поработай еще годик у меня и перестань ходить с опущенной головой. Не забывай примеров из истории. Паганини, Ван-Гог, Уолт Уитмен...

Мать, видимо, тоже думала примерно в таком же духе, но она почему-то смотрела на меня не как на девятнадцатилетнего парня, а как на девятилетнего мальчика. Она старалась накормить меня повкусней, выбирала при разговоре со мной самые ласковые слова.

Сестренка, которая пошла в девятый класс, не очень со мной говорила. Смотрела жалостливо, чуть не плача, частенько присаживалась ко мне, обнимала за шею и прижималась, как тепленький котенок. И бывало, ее никак невозможно было отогнать, она могла сидеть так часами...

Наконец мне надоело сидеть затворником. И в первый же день я пошел на «Мыс любви», где часто любил бывать Мишши Сеспель. Тогда эти места не были людными и шумными, как сейчас. Вы ведь хорошо знаете, какие просторы открываются оттуда на Волгу! Особенно красивы безбрежные луга на западной стороне. Побывав там наедине с самим собой, начинаешь понимать великий дух Сеспеля...

Очарованный волжской красотой, я не заметил, как откуда-то из-за горизонта во все небо всплыли кучевые облака и начали медленно-медленно подниматься в холодное осеннее небо. Вскоре к пристани причалил большой теплоход, и я пошел посмотреть на него.

Я почему-то до сих пор люблю смотреть на отъезжающих, будь то на поезде или на пароходе. В этом есть своя романтика и таинственность. Вот и тогда захотелось мне проводить тот пароход. Он, видно, пришел уже давно, потому что на пристани не было обычной людской суеты. Я поднялся на второй этаж причала и прошел через открытую дверь в сторону, где стоял пароход.

На палубе былолюдно. Напротив меня в сплетенном из белой ивы кресле сидел седенький старичок, похожий на Станиславского. К нему подошла опрятно одетая старушка и о чем-то оживленно заговорила. Чуть в стороне, облокотившись на перила, стояла стройная молодая девушка с белой сумочкой в руках. Пышные каштановые волосы спускались на плечи, чуть припухлые губы придавали ей капризный вид. Когда она случайно посмотрела в мою сторону, я увидел большие голубые глаза.

Я не мог отвести взгляда от этих глаз. Мне даже показалось, что девушка вздрогнула и зарделась.

Я первым отвел глаза, чувствуя, как начинаю предательски краснеть, а сердце затрепетало, точно пойманная птица.

Через какой-то миг я поборол робость и снова взглянул на нее. Девушка посмотрела на меня, и, как мне показалось, ее капризные губы улыбнулись.

«Кто она такая? Где я ее видел? Почему она так смотрит на меня? Может быть, мне спросить ее?» — нервно думал я.

Но тогда я был юн, не хватало смелости. Я простоял, как истукан, вплоть до отхода парохода.

Вот так мы глядели друг на друга минут пять-шесть. Нет, то свое состояние я не могу выразить словами. Хотя с тех пор прошло пятнадцать лет, однако и сегодня, вспоминая это, я очень волнуюсь. Или, точнее, чувствую, как я волновался тогда. С годами обыкновенно забываешь лицо человека, которого и видел всего один раз. А вот лицо этой девушки, хотя я видел его всего несколько минут, я не могу забыть и сегодня. Особенно мне врезались в память ее синие глаза и две слезинки на вдут побелевших ее щечках...

Почему я не сказал ей ни одного слова? Почему я не спросил ее, кто она, как зовут ее? Уже потом я осознал свое тогдашнее состояние — внутренний голос шептал мне, что эта девушка — Ленук. И тогда же я впервые почувствовал неудержимое желание написать песню о двух влюбленных. Я отчетливо слышал необыкновенной красоты звуки, то печальные, то грустные... Попроси тогда эта девушка спеть меня, я бы спел эту никому не известную песню...

«Уехала моя Ленук из Чебоксар, — шептал я себе. — Видно, закончила техникум, и ее направили на работу в другой город. Теперь я уже, конечно, никогда не увижу ее...»

Былинников кончил рассказ, посмотрел на нас, точно желая проверить, какое впечатление он произвел. Неожиданно вскочил на ноги, потрогал загорелую грудь, помассажировал бицепсы и необыкновенно широко улыбнулся.

— Вот так вот, инженеры человеческих душ, я расстался со своей странной любовью, — сказал он, глядя на нас сверху вниз. — Потом я написал мелодию для

скрипки об этом расставании. После создал еще несколько песен и опять на эту тему...

— И все?— не утерпел наш поэт.— А я-то думал...

— Погоди-погоди, Корнилов. Ты, как все поэты, крайне нетерпелив. Когда я вернулся домой, мне зачем-то — сейчас я уже не помню. — понадобилось войти в сестриную комнату. На ее столе врассыпную лежали тетради, книги, а самой дома не было. Вдруг я заметил листок бумаги, лежавший на столе отдельно от других. Почерк мне показался удивительно знакомым. Я машинально взял его. И у меня помутилось в глазах. Это было письмо от Ленук! И неоконченное...

И тут я понял все.

«Душечка! Орленок мой! Неужели после первой неудачи ты опустил крылья? Неужели ты до того дошел, что для тебя поблек белый свет? Неужели не стало солнечного света среди бела дня? Эх, ты, слабенький и нежененький мой... Я случайно вчера увидела тебя на улице — и не поверила своим глазам: ты шел грустный-грустный, подавленный, карие глаза твои полны горя и печали...

Что мы теперь будем с тобой делать? Ведь горе твое — это мое горе. И все же ты не слишком падай духом, раненый мой орленок.

Всю прошлую ночь я не спала, все думала, как помочь тебе, и наконец решила посадить огромный цветочный сад. В нем будут расти тысячи и тысячи цветов со всех концов света...» — Вот в таком духе примерно было написано все письмо. Но, пожалуй, хватит об этом...

— Так как же письмо Ленук попало в комнату к сестре?— загорелся любопытством Корнилов.

— Как, как?— передразнил Былинников, смеясь.— Эти письма писала моя сестренка... Да-да, сестренка...

— Вот это да-а!— удивился поэт, а я добавил:

— Умница она у тебя, Григорий.

— Умница или нет, не знаю,— продолжая улыбаться, ответил рассказчик.— Одно могу точно сказать: письма ее в первый год очень поддержали меня. Я поверил в свои силы.

Сестренка была страшно поражена и напугана, когда застала меня в своей комнате читающим письмо. Она покраснела, побледнела и, заикаясь, начала тараторить:

— Я, Гришенька, хотела тебе помочь... Я думала, так

лучше будет. Я не хотела обидеть тебя... Не сердись, и, честное слово, я хотела только хорошего...

Глядя на сестренку, слушая ее оправдания, я остыл, хотя и думал поначалу наказать шутницу, хотя она и училась в девятом классе.

— Ладно,— говорю,— не хнычь... Я давно догадывался, что это ты писала, вот и решил проверить.

— Забавная девчонка,— заметил Корнилов.— В ней чувствуется поэтическая душа. Где она сейчас, в Чебоксарах?

— Нет, не в Чебоксарах. Она окончила сельскохозяйственную академию и поехала работать на Алтай, так там и осталась. В Барнауле живет. Помните, я вам говорил о цветочных садах, которые она собиралась вырастить для меня? Так вот, сейчас пишет, что со временем у нее будет настоящий рай из редчайших цветов. Ну, как, еще разочек искупаемся? А то, гляжу, я вас совсем утомял своими рассказами.

— И все?— разочарованно спросил Корнилов.

— И все и не все. Ведь мы начали разговор с того, что в жизни много «случайностей», влияющих на судьбу человека. Вот я рассказал, как случайная, мимолетная встреча с девушкой сделала меня композитором. Вы со мной можете не согласиться, что, мол, за чепуха, видел ее всего три минуты, успел влюбиться и сделаться композитором! Но я-то точно знаю, что именно в эти минуты у меня запела душа, и я почувствовал неудержимое тяготение к сочинению песни о разлуке. Конечно, мое состояние было подготовлено письмами «Ленук». Но то, что я после этого написал такие песни, как «Расставание», «Грусть», «Потерянная надежда» и другие, говорят о большом влиянии этой случайной встречи на мое творчество. Ну, что теперь скажете?— спросил Былинников, с хитрецей поглядывая на нас.— Узнали, как я стал композитором?— и бултыхнулся в Волгу, которая еще больше щурилась от огненных лучей солнца.

Я промолчал, думая о самых неожиданных путях человеческих судеб. Все мы думали, что у Былинникова очень легко сложилась судьба, а выходит, вон, как все сложно и интересно.

— Нет, случайностей на свете не бывает!— вдруг категорически отверг свое первоначальное мнение Корнилов и замахал рукой:— Постой, Григорий. Вот же, сатана! Наговорил, черт знает что, и в воду,— и тут же об-

ратился ко мне, закончил с пафосом:—Если человек родился поэтом — он им будет!—И продекламировал:

Вершины сосен шумят, облака пляшут...

И, забыв снять очки и тюбетейку, вошел в воду.

Я же снова улегся на траву и предался думам, любуясь красотой Волги. Тут не было людского гула, царящего на побережье Ялты, Сочи, суеты и толкотни на берегу, когда из-за человеческих тел и зонтов не видно ни неба, ни пальм. Здесь был простор, первозданная природа ласкала душу. И я поймал себя на мысли, что подобных тихих уголков на земле остается все меньше и меньше. А жаль.

Красив юг — без сомнения. Прекрасен Кавказ, воспетый в стихах великих поэтов. А моя «Кувшинка» — нежна и очаровательна, и о ней будут говорить и писать лучшие поэты, они найдут в ней источники вдохновения.

ПАМЯТЬ

Чудная и странная пора — детство! В памяти остаются, казалось бы, самые никчемные факты, события, которые по-своему воздействуют на твой характер, разум. В пору детства трудно отличить реальную жизнь от сна, сказку от правды. Веришь всему — и хорошему, и плохому. Даже сейчас, вспоминая свое детство, трудно разобраться во всех перипетиях прошлого: сны почему-то встают в памяти, как правда, реальность, а события действительные кажутся сном или вымыслом. Вот я и хочу рассказать нечто подобное. У меня уже свои дети, а я и по сей день не могу четко отделить, когда я видел сон, а когда действительность.

С тех пор, как я помню себя, его все звали «Слепой». Другие иногда добавляли — Егор. Так и звали — Слепой Егор.

Тогда мне было лет шесть, и я помню, что где-то там, далеко, шла война. Она длилась так долго, что я и теперь, как только вспомню свое детство, то невольно шепчу это тяжелое, жуткое слово — «война». Как и все тогдашние дети, я ждал отца. Но мне все казалось, что мой отец никогда не вернется, потому что война будет всю жизнь, а значит, мой отец так и будет воевать.

Но война все же закончилась, и отец мой вернулся. Дома у нас в те годы постель не застилали после сна, как сейчас, а просто скатывали в один конец кровати. Помню, я сидел на куче подушек и перин, как вдруг открылась дверь и вошел военный. Я прыгнул на него и, обняв крепко-крепко, повис на шее. Я вцепился в него и плакал... Отец приласкал меня, осторожно разнял мои руки и взволнованно сказал:

— Будет, Ванюша, будет... Не обижайся, но мне хочется еще увидеть и сестренку, и маму...

Что было дальше, я забыл. Времени-то сколько прошло! А до этой счастливой встречи мы все жили в тревоге и ожидании. Это я запомнил.

...Сестра моя была старше меня всего на два года. Однако ловко научилась шить на машинке. Я всегда вертелся около нее и старался чем-нибудь да помочь ей. Тогда в каждой семье готовили подарки для фронтовиков. Так вот, мы с ней принесли в школу кисетов больше всех. Ох, и хвалила же нас потом учительница!

А Слепой Егор, которого я упомянул в начале своего рассказа, тогда работал налоговым агентом — ходил по дворам и собирал налоги. Я его очень хорошо запомнил — больно уж он был занудистый и злой. Еще его именем пугали нас, малышей, мол, заберет, если слушаться не будешь...

«И раньше-то не был человеком, а теперь и вовсе озверел», — говорили о нем наши матери. А ослеп Егор, оказывается, потому, что мыл глаза табачной настойкой, чтобы не быть призванным. Совсем, конечно, он не ослеп, но для армии оказался непригодным. Но писать и говорить Слепой Егор был мастак. Это я сам видел, когда он приходил к нам за налогом.

В деревне его не любили. Мы же, мальчишки, питали к нему что-то среднее между страхом и чуточку обостренным любопытством. «Плохой, злой, беспутный», — говорили о нем все. Не знаю, может быть, и преувеличивали, может быть, в те трудные годы необходимо было быть и злым. Всем ведь не угодишь. Да и налоги собирать дело нешуточное. Мы боялись его и, как бы в отместку за это, при удобном случае били его сына Алексея, который учился с нами.

В детстве все мы бываем жестокими...

Помню, как однажды Слепого Егора, пьяного, избili женщины за то, что он к кому-то приставал... Вцепились

восьмером и потащили к лепешке, оставленной коровой. Крича и визжа, женщины начали тыкать его лицом в жидкий навоз... Тычут, тычут и приговаривают: «Вот тебе, вот, бесстыжий кобель! Наши на фронте воюют, а ты тут охальничаешь!...» Потом вдруг отпустили Егора и сами же расплакались. А тот встал, вытерся травой, цыкнул на нас и пошел к себе, кому-то грозя: «Вы еще у меня не так поплачете!»

Потом я все же спросил у мамы, за что они его так. Она взглянула на меня, улыбнулась и ответила: «Ты мал еще знать, лучше занимайся своим делом». Но после я узнал, что Слепого Егора женщины наказали за то, что зачастую «обижал» солдаток. Это мне уже дед Селивер рассказал. Бывали случаи, оказывается, когда Егор прибавлял налог, если кто-то не благодарил его. А потом до того обнаглел, что перестал скрывать свои связи.

Узнав от деда такие «подробности», мы, ребята, тоже решили отомстить Слепому Егору. И когда он однажды возвращался из района вечером, мы распахнули ворота околицы настежь и натянули между столбами проволоку. Мы предвкушали его падение и часа два лежали под дождем. Наконец показался наш кровный враг. Он заппнулся за проволоку и со всего размаха полетел в грязь. Для нас это было великой радостью. Наконец-то и мы сделали больно всемогущему собирателю налогов.

После войны Слепой Егор спрятался за стены своего дома. И для нас стало все равно: есть он на свете, нет ли его. Правда, ходили слухи, что дома он свирепствует, часто бьет жену и детей. А старшего сына Алексея будто бы совсем выгнал из дома. Мы уже тогда закончили среднюю школу и многие поступили в институты, а Алексей, оказывается, не прошел по конкурсу, и отец его выгнал из дому: «Живи, как сам знаешь, ты мне не нужен». После этого Алексей уехал в Челябинск, служил в армии, потом закончил техникум и теперь живет в Чебоксарах и работает техником-строителем.

С тех пор я больше не видел Слепого Егора. Выходит, прошло уже больше двадцати лет!

...И вот однажды Слепой Егор явился к нам, как с неба свалился.

Сидели мы у Алексея и играли в шахматы. Вдруг прозвенел дверной звонок. Алексей открыл дверь — перед ним стоял обтрепанный, давно не бритый человек. Глаза тусклые, лицо серое, в глубоких морщинах, уши

похожи на переваренные пельмени, оттопырены в стороны, когда-то сильное тело сжалось как под тяжестью. В том что я не признал в этом человеке Слепого Егора, не было ничего удивительного. Но и Алексей не сразу узнал отца. А когда признал, то заметно растерялся.

— Что, не ждали?— буркнула, а вернее проклекотала фигура, и тусклые глаза зло измерили Алексея с ног до головы.— Аль испугались? А может, и не узнал даже? Отец я твой— не бойся. Да будь ты порасторопнее. Когда приходит человек, его обычно приглашают пройти, присесть. Видишь, в какой избе живешь, а отца родного на пороге держишь...

Меня поразило одно: перед нами стоял совсем старый, явно больной, жалкий человек. Но стоило ему только заговорить густым, с хрипотцой басом, как его тонкие губы сделались жесткими, и изнутри его прорвались грубость и хамство, доходящие до бессмысленной уверенности в своей правоте.

Люди под старость обычно смягчают характером, становятся строже в оценке своего поведения и людей, делаются снисходительней к чужим слабостям. А этот был по-прежнему злой и мстительный человек.

Мы с Алексеем стояли растерянные. Слепой Егор снял картуз, сунул его оторопевшему сыну, прошел вперед и, наконец, обратил внимание и на меня. Я тоже был растерян не меньше Алексея, но старался взять себя в руки.

— Как поживаете, дядя Егор?— сказал я, желая как-то разрядить обстановку.

Он пристально оглядел меня и промолчал. Не узнал меня, конечно. Я назвал себя.

— А-а-а,— протянул он, словно припоминая, но тут же равнодушно добавил:— Сильно ты изменился...

Стоя посередине комнаты, гость цепким взглядом окинул книжный шкаф, мебель и грузно опустился в кресло.

— Квартира ничего. Только вещей маловато,— изрек он недовольно.— Вещи всегда деньги,— растопырил он пальцы, словно из горсти выпустил свою мысль.

Алексей криво усмехнулся и молча продолжал наблюдать за отцом.

— Чего смеешься?— проскрипел Слепой Егор.— Не правду, что ли, говорю? Не первый год работаешь— было время на ноги встать. А ты, кроме книг, ничего и

не скопил. Раз в городе живешь, надо жить в достатке. Чем двигать игрушки на доске, лучше бы где подработал. Рабочие руки везде нужны. Да и жениться пора...— категорически сказал он.

Алексей молчал и все так же вопросительно смотрел на отца.

— Да-а,— протянул старик, беспокойно заерзав в кресле,— так, значит, встречаются теперь дети отцов? А я думал иначе. Заявлюсь, мол, сынок обрадуется и сразу же пол-литра на стол выставит. А здесь не то что пол-литра, даже про здоровье не спрашивают.— Дядя Егор сунул руку в карман замусоленного, с оборванными пуговицами пиджака, вытащил измятую трешницу и протянул сыну.— На, купи. Угощаю, пусть тебе стыдно будет. Вот и Ванюк не откажется опрокинуть чарочку-другую...

Алексей не взял трешку. Молча вышел на кухню и принес оттуда бутылку «старки», нарезанную кружками колбасу и две рюмки.

— Пошто не три чарки, а две?— спросил отец.

— А я не пью. Вы, вон, с Ваней выпейте, он немного может,— и Алексей посмотрел на меня так, что я сразу же все понял.

— С Ваней, так с Ваней,— охотно согласился дядя Егор, наполняя рюмки.— Хе, — покачал он головой не то одобрительно, не то укоряюще,— а сам не простую, дорогую запас. Денег-то много накопил?

— Много ли, мало ли — на жизнь хватает,— отрезал сын.

Дядя Егор ничего не ответил, только исподлобья зыркнул подслеповатыми холодными глазами и одним глотком осушил рюмку. Задохнулся, закашлялся. Кашлял долго, с надрывом, крупной рукой судорожно шарил по груди. Закусил колбасой и еле-еле успокоился. В комнате долго висела тишина.

— Продам я дом,— оборвал тягостное молчание дядя Егор.— Теперь я совсем голый воробей. Что ты на это скажешь?

— А зачем продам-то?— спокойно спросил Алексей.

— Велик он для меня одного. На что старому хрычу такой клуб?— ответил Егор, вопросительно глядя на сына, потом отвел взгляд и стал смотреть в сторону. Казалось, он смотрит куда-то через стену.

— И где ты думаешь жить? Не на улице же? У чело-

века крыша должна быть над головой. Звери и те стараются себе создать жилье... А ты взял и продал...

— Мне, старому воробью, где хошь сойдет. Да и у тебя, к слову, сказать, можно. Подвесишь где-нибудь в углу вверх ногами — так и буду и висеть. Ты же знаешь, как живет старый воробей. А мне недолго осталось, — чувствовалось, что Слепой Егор ищет ссоры и его раздражает благополучие сына, которого он выгнал двадцать лет назад.

Алексей молча покачал головой. А дядя Егор, не замечая этого, снова наполнил рюмки, но в этот раз выпил осторожно, с опаской.

— Послушай, — начал Алексей, — ты, конечно, не забыл, как когда-то выгнал меня из дома? Помнишь? А если я тебя не пущу к себе? Не приму. Тогда как? Когда ты надумал дом продавать, со мной же не советовался? А теперь пришел советоваться, где жить тебе. Я думаю так: как сам решил, так и живи. А у меня для тебя нет места. Вот мое последнее слово.

Я ждал, что сейчас начнется буря. Но ни один мускул не дрогнул на лице дяди Егора. Даже глаза не поднял на Алексея, а спокойно, как давно заученное, начал:

— За такое обращение со старым человеком, тем более с отцом, — дядя Егор грузно повернулся к нему, — тебя никто по головке не погладит, сынок. Так что надо думать прежде, чем говорить. Не то ведь я тебя и притянуть могу... В газету, к примеру, могу написать про твои слова, а то и на работу можно заглянуть да поговорить с начальством... Теперь закон на стороне родителей... Так-то вот, сынок, по головке не погладят, это точно... А законы я знаю лучше иного юриста — всю войну налоги собирал. Вот и глаза тогда потерял...

Алексей улыбнулся. Наглость отца, видимо, не очень удивила его.

— Значит, притянуть меня можешь? — Алексей встал и нервно заходил по комнате. — Не успел я закончить учебу, как ты нашелся и в первом же письме предупредил о деньгах. А где же ты был, когда я учился? Не то чтобы денег, а даже писем не слал! Я и вырос, и техникум кончил без твоей помощи. И вот уже который год высылаю тебе каждый месяц деньги... А тогда ты о чем думал, когда изо дня в день отравлял наше детство? От тебя мы в детстве человеческого слова не слышали!.. А глаза... ты бы уж лучше молчал о них... Ты же сам их

выжег, чтобы фронта избежать. На месте государства я бы тебя и пенсии лишил...

— Ты мою пенсию не трогай! Я ее заработал! А потом — подумаешь, двадцать рублей, что колхоз дал, — разве это деньги! Мне не пенсию надо, а чтобы ты со мной разговаривал как сын... Слушай, Лексей, ты со мной разговаривай по-хорошему, не то я, ей-богу, к твоему начальству заявлюсь... Вы посмотрите на него, люди добрые, — отца ни во что не ставит! Я же тебя до восемнадцати лет кормил, теперь ты меня должен содержать! Понимаешь, такой советский закон! А со мной шутки плохи.

Слепой Егор хотел опрокинуть еще одну рюмку, но почему-то вдруг раздумал и осторожно поставил ее на стол. Поставил и взглянул на сына так, что у меня мурашки побежали по спине...

В окно уже смотрели сумрачные глаза вечера, хотя далекое, расплывшееся за день от жары солнце пламенело на западе, за дубовыми рощами. Я почему-то вспомнил, что во время войны оно вот такое же большое, до жути красное, висело на закате очень долго. Женщины смотрели на него и горестно вздыхали. А мы, мальчишки, оттуда, куда заходило солнце, почему-то именно оттуда ждали отцов. Но в то время нам часто казалось, что они никогда-никогда не вернутся, а солнце такое большое и багровое...

Мне вдруг стало невыносимо душно в этой комнате.

— Ну, я, пожалуй, двинусь домой. Посидел и будет. Наведывайтесь к нам, дядя Егор, я тут неподалеку живу. Алексей знает... Ну, бывайте. Пока. — Я поймал себя на чувстве, что я и сейчас внутренне содрогаюсь перед этим человеком. А что же было с теми людьми, которые зависели от него?

На улице я долго не мог прийти в себя. Большим усилием воли я подавил в себе это непонятное гнетущее состояние и увидел, что вокруг все хорошо: ходят звонкие автобусы и троллейбусы, торопливо шагают люди с папками, сумками, сетками, полными продуктов, тепло светятся окна домов, играют дети...

И странное дело! Вот мы с Алексеем знаем, что перед нами жестокий, мерзкий человек, а сидели с ним и разговаривали и даже угощали его. Да и нельзя, видно, иначе, он же отец... В детстве все было бы значительно проще — мы бы обязательно отомстили ему, и никакие

его увещевания, знания законов и угрозы не напугали бы нас. Мы руководствовались бы только чувствами и постарались бы сделать все, чтобы зло было наказано, а добро восторжествовало. Разве можно осудить наших матерей, которые выкатили Слепого Егора в коровьем жидком навозе? Или нас, натянувших провод? Конечно, нет. Нами двигало желание найти правду, а главное — отомстить за то зло, которое он приносил людям...

И тут я вспомнил своего отца — капитана Красной Армии, который сражался в годы войны в той стороне, где всегда пряталось солнце. Я уже не помню, наяву это было или во сне, а может быть, это просто моя фантазия.... Я же говорил, что в детстве сложно бывает отделить реальность от выдумки. Так вот, я вспомнил своего отца. С фронта он привез нам писчей бумаги, тогда это было целое богатство. Еще говорил он, что хотел нам привезти настоящую немецкую фуражку, но потерял ее в дороге. Но мы не очень-то из-за этого переживали. Главное — у нас была бумага, и теперь мы могли писать не на газете, а на настоящей, белой-белой бумаге... В ту ночь, когда возвратился отец, в доме никто не спал...

Так я шел к себе домой от Алексея и невольно вспоминал детство, этим самым как бы снимая всю тяжесть с души, которая навалилась на меня с появлением Слепого Егора. И мне почему-то даже стало жалко его. Так, видно, уж устроено человеческое сердце — отходчиво оно, жалостливо... О чем они сейчас, интересно, говорят? Что делают?

* * *

На другой день, занятый по горло делами, я на какое-то время совсем забыл о Слепом Егоре. Ни утром, ни на работе, ни потом я ни разу не вспомнил о нем. Но вечером только успел я поужинать и стал просматривать свежие газеты, как вдруг пришел Слепой Егор.

— Проходите, проходите, дядя Егор. Как ваше здоровье? А почему вы один? Чего Алексей не пришел? — несколько суетливо приглашал я непрошеного гостя.

— Да разве его дозовешься? С родным отцом пройти стыдится. — Он поискал глазами, куда бы повесить фуражку. Не успел я подсказать, как он положил ее на стиральную машину, стоявшую в углу. — Вишь, одел меня в свой старый костюм. Не срами, говорит, меня хоть своим видом. Вот какие слова слышу от сына...

Слепой Егор и вправду был в другом костюме. Сбрил бороду и казалось, очень помолодел, только глаза остались такими же тусклыми и тяжелыми.

— Проходите, дядя Егор, садитесь. Расскажите, какие новости в деревне? Как там наши живут? Кого встречаете?

Дядя Егор, медленно останавливая взгляд на каждой вещи, прошелся глазами по квартире. Сел на диван, пощупал его и точно так же, как вчера у Алексея, еще раз неторопливо обследовал комнату глазами. Я уже было подумал, что он не слышал моих вопросов, и хотел повторить, как вдруг он, крикнув, как после выпивки, забубнил:

— Ничего, живут ваши помаленьку. Перед самым отъездом видел твою мать и сестру тоже, кажись... А где твоя семья-то?

— Жена прямо с работы за ребенком в ясли заходит, вот еще не пришла. А старший на улице бегают. Он уже большой. Первый класс кончил... Дядя Егор, у вас, кажется, моложе Алексея кто-то был? Где он теперь?— Я чувствовал, как рою перед этим стариком, и понимал, что задаю совсем пустые вопросы. И сейчас неожиданно опять вспомнил годы войны и подумал, каким он, должно быть, был могучим и свирепым тогда, сколько страху нагонял своим видом.

Он опять будто не слышал меня, долго сидел молча, смотря куда-то за окно.

— Э-э-э!— вдруг махнул рукой гость.— Укатил он куда-то, аж к черту на кулички. В какую-то Находку, что ли... И писем не шлет. Год назад, кажись, написал два слова. А больше и нет... Вот какие дела...

— А старшая ваша? Маня? Та, что в Айбеси замуж вышла? Она-то навещает вас?

— В год раз... Оно, конечно, далеко... Как ни говори, а двадцать верст...

Снова мы замолчали. Я пытался понять существо этого человека, который во время войны держал в страхе сотни людей, свою семью и ловко пользовался своим положением. Чтобы только избежать фронта, он испортил себе глаза, озлобился еще больше, но налоги выжимал мастерски — буквально заменял десятерых... Моя мать не раз плакала от него, и я ведь мог сейчас просто выгнать этого человека, хотя почему-то я же сам и пригласил его, уходя от Алексея. Именно сейчас опять

у меня появилось чувство жалости к этому человеку. И он это чувствовал.

Наконец я спросил:

— Может, за бутылочкой сбегать, дядя Егор?

— Да ладно..— махнул тяжелой рукой Слепой Егор.

После этого мы замолчали надолго и сидели, не глядя друг на друга.

— Шлипшурку-то нашу запрудили нынче?— спросил я, вспомнив речку, где мы в детстве ловили пескаришек.

— Прудили, вроде бы...

— Председателем в колхозе все еще Исай Васильевич?

— Все он же... Говорили, он крупно провинился... Снять, слышь, хотели. Из района приезжали, собрание созывали. Да не послушались колхозники приезжих — оставили Исаю. Крепкий хозяин он. Хотя и без ноги, а работает что надо...

— Дядя Егор, а кто в нашей деревне сейчас самый старый? Когда-то, помню, был дед Селивер.

— Седой Софрон, поди... А Селивер шибко лют был на меня. Помню, молоком плеснул раз...

— А вам-то сколько будет?

— Да седьмой десяток вроде бы...

— Немало-таки... Ну вот, прибыли наконец и мои,— обрадовался я, увидев в дверях жену.— Дуся, познакомься с дядей Егором. Он из нашей деревни. Это отец Алексея... Ниночка, подай дедушке ручку. Ну, вы тут посидите, поговорите, а я сбегаю в магазинчик, надо гостя угощать...

По пути в магазин я опять вспомнил деревню, детство... Когда я учился в пятом классе, Алексей недели две ходил с забинтованной рукой. Говорил, что сломал, упав в канаву. А позже мы узнали: он полез на сеновал, хотел выпить куриное яйцо, он всегда ходил голодный, одним словом — война шла. У кого из нас, тогдашних мальчишек, не подводило животы от голода и желания хоть раз наесться вдосталь?! Так вот, полез Алексей за яйцом и попался на глаза отцу. Тот его до тех пор бил по рукам палкой, пока не сделал перелом... Вот и ходил Алексей с загипсованной рукой. А ведь никому не сказал, что это отец. Его мать — тетя Мавра — тогда чуть с ума не сошла... А умерла она уже лет десять тому назад. «Хоть теперь отдохнет», — говорили тогда женщины над гробом.

Я тоже не раз лазил на наш сеновал за яичками, но почему-то никому не попадался на глаза. А может, и видели, да ничего не говорили. В общем, меня никто не бил. Интересно, что бы сделал мой отец, если бы застал меня на месте преступления? Нет, палкой, конечно, он никогда бы не ударил. Может быть, уши надрал...

Слышно было, что Слепой Егор потом женился второй раз, но новая жена его скоро ушла. «Не человек это, а сущий дьявол»,— говорила она.

Вернулся я из магазина в плохом настроении. Не думал, что память может так цепко держать события двадцатилетней давности. Я уже ругал себя за ненужное гостеприимство. И утешился тем, что я его сейчас угощу и быстро выпровожу... Однако надежды мои не оправдались. Слепой Егор ушел от нас не скоро. То ли от доброй закуски, то ли старик был еще крепок, как дуб, но водка не брала его. Так что после нескольких рюмок он был трезв, как стеклышко.

Сначала Слепой Егор сидел молча, насупившись, и пропускал стопку за стопкой, смотрел не на меня, а на стол и расписанную цветочками рюмку. Потом, видимо, водка все же взяла свое — он оживился, мутные глаза его начали поблескивать.

— Послушай-ка, Ванюк,— сказал он и громко икнул.— Вчера я сказал Алексею, что продал дом свой. Слыхал?

— Как не слышать. Я же рядом с вами сидел...

— Так вот знай теперь правду: никакой дом я не продавал. Что удивляешься? А почему, думаешь, я наврал Алексею? Проверить его решил, вот что. Собачий он сын! Не человек его родил! Отца за родителя не признает. И когда ты ушел, он все свое твердил: «Не буду с тобой жить!» Вот и вырасти, выкорми детей... А у тебя их трое, что ли?

— Двое...

— Все равно... Балуете вы теперь детей,— зло сказал он, увидев в дверях мою дочь со стаканом апельсинового сока и широко улыбающуюся от удовольствия.— Слыхом вы уж балуете своих детей!— повторил он еще тверже и заскрипел зубами.— Я вот мямлей был...— начал он опять, заметив, что я хочу перебить его.— Крепче надо было тогда держать их в кулаке...— И Слепой Егор так сжал кулак, что захрустели суставы пальцев.— Тогда бы они поняли, что такое жизнь, выросли бы люди-

ми... Вон мой Иван укатил к черту на кулички и писем не пишет, и не навестит меня даже. «Брось там все и приезжай,— как-то написал я ему,— и дом пустой, и сам старею. Умру, кто жить-то будет?» Нет, и не подумал, окаянный! Я, отвечает он мне, свил свое гнездо, не жди, не приеду. Ишь ты, гнездо он свое свил! Эх, жизнь-голубушка! Нет ли у тебя папирос, Ванюк? А то я курю махорку, навоняет она тут, за неделю не проветришь.

«Смотри-ка ты, иногда он говорит совсем как человек»,— подумал я и подал ему сигареты, потом подошел к окну, открыл форточку.

Слепой Егор неловко повертел в толстых пальцах с загнутыми ногтями тонкую сигарету, поразглядывал ее, точно видел впервые, зловеще усмехнулся своим мыслям, а вслух сказал:

— Жидкие куришь папиросы, Ванюк, значит, ты нутром слаб... Человек должен быть во!— Он снова сжал кулак.

Я промолчал. Действительно, Слепой Егор оказался человеком крепким, дожил до семидесяти и еще, может, проживет с десяток лет. А сколько бы моему отцу сейчас было?

Из наших окон хорошо виден закат. Солнце опять там, на западе, над Ядринским лесом... Вечерами край неба, где исчезает солнце, наливается багрянцем по-особенному густо, сочно. Мне кажется, это оттого, что там пролилось много крови наших людей. Чувство это у меня так и осталось с детства. Мы тогда часто собирались вечерами у околицы и смотрели на закат со страхом. Одни говорили, что это языки пожарниц отсвечивают в небе, другие утверждали, что это кровь льется, ведь земля круглая, а самые воинственные среди нас заявляли, что это палят «катюши» и пушки. Мы верили во все—ведь там, на фронте, воевали и гибли наши отцы и братья...

...И отец мой тогда вернулся, видно, потому, что я очень ждал его. На груди ордена и медали! Оказывается, он брал Берлин и был к концу войны уже капитаном. Я никак не мог наглядеться на его ордена и медали, то и дело гладил их и всегда при удобном случае старался похвастаться ими перед своими сверстниками. Награды отца я прикрепил к лоскутку красного сукна и повесил их на видное место. Они и теперь висят у нас дома там же—пять орденов и семь медалей...

— Нет, что ни говори, а детей вы так балуете, что потом сами заплачете... Какими они только вырастут?— перебил мои мысли дядя Егор.

— Да, может, и так... Поживем — увидим...— ответил я, не совсем еще освободившись от своих воспоминаний.

— Так-то вот, забывают дети отцов, знать не хотят, как вырастут. Есть ли на земле хоть один путный человек из ста, а?— где-то далеко прозвучал опять хриплый голос старика.

Я вздрогнул почему-то, осмотрелся даже и первое, что я увидел — это жалкая, согнувшаяся над столом фигура Слепого Егора.

— Скажи, Ванюк, так что же мне теперь делать? Я ведь Ивану еще вот как писал: «Продам дом и приеду к тебе». А он в ответ: «Не приезжай, мы отсюда скоро переедем в другой город». Думаешь, правду говорит? Врет. Врет, мошенник! И зачем ты только переводишь деньги на такие папиросы?— Слепой Егор смял пальцами сигарету и положил ее на тарелку.

«Иван, Иван... Какой он был из себя? По-моему, он был лет на пять моложе нас с Алексеем и сильно заикался. Да-да, говорили, что его еще совсем младенцем перепугал Слепой Егор. А когда он подрос, то отец его запер в амбар, мол, клин клином вышибают, и держал там двое суток. «Выйдет и будет разговаривать, как человек!»— кричал Слепой Егор, отгоняя от амбара плачущую жену... Не могу понять, но почему-то одно воспоминание вызывало другое, и душа моя опять находилась в каком-то смятении. И мне неожиданно захотелось выпить водки. Видно, мое настроение требовало разрядки...

— Давайте-ка, дядя Егор,— предложил я,— выпьем по стопочке...

— Наливай,— лениво, словно спросонья ответил гость.

Я наполнил рюмки и в этот раз первым осушил ее до дна.

— Ты частенько к ней, проклятой, прикладываешься?— спросил, ехидно усмехаясь, старик.

— «Сухой закон» не соблюдаем. Бывает иногда.

— А Алексей-то мой, что, и вправду не пьет? Или только со мной не захотел?

— Не обижайтесь вы на него, дядя Егор. Алексей и вправду не пьет,— мой голос был елеинный, фальшивый. В груди у меня все протестовало против этого человека,

против его жестокостей, которые я видел в моем детстве, а вот говорил я с ним, как гостеприимный хозяин.

— Не знаю, так ли ты все правильно говоришь, но все равно он не человек, он — собака, а вернее — щенок. И ему я вчера сказал, что не продал еще дом-то, а только собираюсь. Так он тут же свое задолдонил: в деревне живи и все. Денег буду больше посылать... А сколько он получает, не знаешь?

— Не знаю, дядя Егор, я его не спрашивал...— И в это же время я думал: «Почему, почему я не прогоню его?»

— Сам-то, видать, немало гребешь? Сразу видно — живешь богато. А где работаешь?

— На заводе....

— Кем ты там?

— Инженер я...

Слепой Егор закурил. На этот раз он закурил свою махорку. По комнате синей полосой с желтизной по краям потянулся едкий дым. Оказывается, махорочный дым красивее сигаретного — густой, голубой, переливчатый.

— Вот так-то оно, Ванюк...— впервые за все время страдальческим голосом произнес Слепой Егор.— Не принимают меня сыновья, не принимают. Седьмой десяток уже идет, скоро и помирать, а вот смотреть-то за мной и некому.

Гость часто заморгал белесыми ресницами, правая щека его начала нервно дергаться.

Я вспомнил, как он вчера заявился к сыну, нахрапистый, злобный, уверенный, как и в прошлые годы, в своей безнаказанности. Мне снова стало жалко этого старика, принесшего в свое время немало горя людям.

— Дядя Егор,— как мог, мягче начал я, забыв о неприязни к нему.— Простите, но мне хочется вам посоветовать. Вы ведь и в самом деле изрядно постарели. И жить одному бобылем, да еще содержать хозяйство и вправду трудно. Почему бы вам не перевезти из Айбесь Маню и всю ее семью к себе? Пусть живут вместе с вами и вам помогут.

Слепой Егор встал, пошел к окну и выбросил окурочек в форточку, опустив голову, тяжело задышал, с прихрапом.

— Говорил я с Манькой, а зять не соглашается,— бубнил он, поглаживая седые волосы.— У них есть такой,

как я... Получше меня еще... Вот какие, Ванюк, пироги-то получились под старость лет...

— Ну, тогда ничего не поделаешь, дядя Егор. Ничего. А все же я как-нибудь поговорю с Алексеем. Он человек добрый...

— Я ж тебе уже сказал, не человек он, а звереныш. Был бы человеком, так не делал бы.

Слепой Егор говорил со мной так, будто я ничего не знаю о его прошлом, будто я для него незнакомый человек. И я решил испытать его. С трудом сдерживая волнение, я равнодушно спросил его:

— Дядя Егор, а не обидели ли вы когда-нибудь Алексея так, что он до сих пор не может забыть? Бывает ведь такое, долго не забывается незаслуженная обида — и все тебе тут. Вам бы, может, у него прощения попросить? — неосторожно вырвалось у меня.

— Я думаю, его обида на меня одна — мало палкой угощал, когда надо было! Вот в чем моя ошибка. Поломал разок руку, а надо было еще и ноги пообломать. Не хорохорился бы сейчас так передо мной...

— А Ивана?

— И ему мало попадало! — вскочил Слепой Егор. — Эх, иногда у меня спяну жалость появлялась.

Я снова видел перед собой прежнего Слепого Егора, только теперь уже дряхлеющего и от этого еще более злобного. И тут я не выдержал и выпалил все, что накопилось на душе:

— Ну, тогда, тогда я вам ничем не смогу помочь... И вообще... Знаешь что, давай-ка допивай и мотай своим путем...

Слепой Егор допил прямо из горлышка остаток водки, нахлобучил картуз, набычился и прошипел:

— Мало я над вами измывался...

После его ухода я грохнулся на диван и не помню даже, как уснул.

Проснулся я среди ночи и долго не мог понять, где я и что со мной произошло. Мне даже казалось, что я совсем еще маленький и нахожусь в деревне. Видимо, я все еще был под действием сна, который я вижу вот уже на протяжении десятков лет. Впервые мне приснился этот сон в день Победы... Будто бы кончилась война. На улице песни, пляски, веселье. На ветру трепещут красные флаги. Ребята носятся наперегонки с собаками. А наша мама катается по полу и голосит, закрыв лицо руками.

На полу же валяется бумажка — извещение о гибели отца (он у нас погиб под Берлином, всего за несколько дней до конца войны).

Странно: с тех пор прошло столько лет, а этот сон повторяется у меня до мельчайших подробностей.

За день до своей гибели отец написал нам письмо. И пришло оно как раз вместе с похоронкой... «Война-то вот-вот кончится. Не сегодня-завтра возьмем Берлин. Лизке и Ванюшке привезу целый чемодан белой бумаги, и не будут они больше писать на газетных обрывках...»

Если бы он вернулся, то, конечно, обязательно привез бы белой бумаги, и я, конечно, бросился бы на него с кровати, как тигренок, и обнял бы его крепко-крепко — но не выпало мне такое счастье, не вернулся он... Поэтому мне, тогда малышу, приходилось все придумывать самому: и то, как он вернулся, и то, как вошел в избу, и как я бросился ему на шею, как тигренок... Правда, не все мне приходилось выдумывать: после похоронки пришли к нам его ордена и медали — пять орденов и семь медалей, и два капитанских полевых погона. Я прикрепил их к красному сукну и повесил на видном месте и всегда гордился перед сверстниками: вот какой у меня был отец!

Все было у меня потом: отцовы ордена и медали, и погоны, и белая бумага. только не было его самого.... Если бы он вернулся! Он очень любил меня, и я его тоже очень-очень любил. Может быть, это и странно, но порою мне хотелось, чтобы он пожурил меня или даже наказал. Правда, я знаю, что отец никогда бы не поднял на меня руки... Помню, как часто он брал меня и подбрасывал к потолку, приговаривая:

— Смотри, мать, наш Ванюшка смелый, как Чкалов! Я визжал от счастья и до одури просил:

— Папка, еще! Еще!..

Больше двадцати лет прошло, как не вернулся с фронта мой отец. Но его поминают до сих пор добрым словом односельчане. А Слепой Егор и ходит по земле, однако даже родные дети — и те забыли его....

Память детства... Как ты цепка и чувствительна! Сколько в тебе нежности и добра! Красивые сны бережешь, как правду!

По профессии я — шофер такси. Едва ли кто больше нас встречается с людьми, знает их характеры. А попадаются пассажиры самые неожиданные и любопытные. Каких только случаев не бывает с нашим братом — таксистом!

Как-то в субботний теплый августовский вечер сидел я около ворот на скамеечке, смотрел на прохожих и любовался высокими облаками, которые ежеминутно меняли свои очертания. То они становились похожими на увальня-медведя, то на могучего слона и тут же превращались в лошадь или человека... Казалось, все небо заполнено живыми существами.

Вдруг я обратил внимание на широкоплечего парня среднего роста, медленно идущего по нашей улице. Он внимательно разглядывал каждый дом, осматривался по сторонам и, пройдя несколько шагов, останавливался, всматривался в строения и снова шел дальше. Было ясно, что незнакомец искал нужный ему номер. Когда он поравнялся со мной, лицо его просветлело.

— Вы не здесь живете?— спросил он, показывая на мой дом.

— Здесь. А вам кто нужен?— поинтересовался я и невольно обратил внимание на живые коричневые глаза незнакомца.

Парень пристально посмотрел на меня и, словно сомневаясь, переспросил:

— Вы из этого дома?

— Я же сказал вам, что отсюда,— подтвердил я.

— Пятнадцать лет назад в этом доме жил другой человек, такой рыжеватый,— виновато начал парень.— На лбу у него был глубокий шрам. Я не знаю ни его имени, ни фамилии... Волосы у него были рыжие, кудрявые... А вы вроде на него не похожи,— незнакомец улыбнулся.— Вот я и переспросил — из этого ли вы дома?

— Может, это Виноградов?

— К сожалению, я и фамилии его не знаю,— растерянно продолжал парень.

Тогда я ему сказал, что Виноградовы еще лет пять назад переехали в Канаду.

Красивое лицо парня сразу потускнело, и он даже растерялся.

— А вы не расстраивайтесь,— поспешил успокоить

его я. — Если надо, то я могу вам дать его адрес. Ведь этот дом я купил у Виноградовых. Они живут в Канаше. А когда приезжают в Чебоксары, всегда останавливаются у нас. Я, бывая в Канаше, тоже захожу к ним. Так что адрес их я знаю...

Паренек задумался. Потом вытащил из кармана потрепанный блокнот и огрызок карандаша. Записывал он адрес старательно, четко выводя каждую букву.

— Жаль, не увидел его, — сказал он грустно. — А улица с тех пор очень изменилась, и садов стало больше... Ну, будьте здоровы. Спасибо за адрес. — Он повернулся и зашагал в тот конец улицы, откуда пришел. Я долго провожал его взглядом. Шел он легко, уверенно. Когда незнакомец скрылся за поворотом, я снова вспомнил об облаках, но теперь уже никаких зверей или замков на небе больше не было. Облака струились, как синие дымочки от папирос...

На другой день, в воскресенье, мне пришлось съездить до обеда в Цивильск и Чурачики. В полдень, пока не было пассажиров, я решил перекусить в буфете автовокзала. Не успел выйти из машины, как ко мне подошел пассажир. Я в душе даже чертыхнулся — пообедать не дают, а то ждешь их часами.

— Вот так встреча! Вы разве работаете шофером? — удивленно спросил пассажир.

Но и я не меньше поразился — это был вчерашний парень.

Погода в тот день стояла пасмурная, и одет он был в плащ, на голове — шляпа. Поэтому я его сразу и не узнал. Только коричневые глаза смотрели так же открыто и приветливо. Другому бы я отказал — обед и все тебе тут, ну а этому я сам предложил:

— Куда вас?

— К Виноградовым. Подбросите?

— Садитесь! Думал пообедать, да ладно, перехвачу в Канаше.

Не знаю, как у других таксистов, но настроение для меня в дороге во многом зависит от пассажиров. Я уже говорил, что пассажиры бывают разные: одни чересчур болтливы, другие за всю дорогу, наоборот, слова не скажут, а третьи так просто дремлют, я уже не говорю о пьяных, злых желчных или больных. Со всякими людьми приходится встречаться шоферам. Наше дело возить пассажира и давать план. Но все равно, одних помнишь

долго и вспоминаешь с теплотой о них, других забываешь сразу же... Я не люблю слишком болтливых, но не по душе мне и молчаливые.

Парень, поехавший со мной в Канаш, километров пятнадцать ехал молча, потом беспокойно завозился на сиденьи и задымил сигаретой. Предложил и мне, но я некурящий и потому отказался.

Мы снова ехали молча.

— Как они там, Виноградовы, все вместе живут?— спросил неожиданно пассажир.

Продолжая внимательно следить за дорогой, я ответил:

— Старший сын окончил университет и теперь работает где-то на Севере. Еще один у них, кажется, в пятом классе учится...

Мы снова ехали молча. Я сидел и раздумывал, зачем парню Виноградовы? Кто он такой?

А пассажир мой завороченно смотрел вокруг. Березовые рощи, плантации хмеля, массивы вековых лип, заливные луга с пасущимися на них стадами коров создавали неповторимую красоту. Даже я, видевший все это сотни раз, и то не мог остаться равнодушным.

— Послушайте,— снова начал парень,— а как вас зовут?

— Иван Григорьевич...

— Так вот, Иван Григорьевич, вы никогда не совершали в своей жизни поступка, за который потом постоянно бы упрекали себя?

Не понимая, куда гнет парень, я попытался отшутиться:

— Что, может, неудачно женился?

— Не-ет. О женитьбе я как-то еще не думал. Мне вот сейчас припомнилась одна история... Однажды мы с товарищем от скуки болтались в городском парке. Лет семь-восемь назад это было. Не в Чебоксарах, а в другом городе далеко отсюда... Были чуточку подвыпившие. Ведь теперь это считается чуть ли не за достоинство молодого человека. А вообще-то, видно, довольно изрядно мы были пьяны. Ну и пристали тогда к девушке, которая сидела на скамейке и читала книгу. Она хотела уйти от нас, но мы ее схватили за руку и начали пошло изливать наши чувства. В это время по аллее шел моряк. Увидев, что мы пристали к девушке, он заступился за нее. А нам тогда даже казалось, что девушку мы, соб-

ственно говоря, и не обижали. И вмешательство моряка приняли за личное оскорбление. Я, не раздумывая, двинул ему по скуле. Мой приятель Николай сделал то же самое. Но моряк попался не из робких. Вначале он пытался урезонить нас словами, а потом, видя, что мы не поддаемся ни на какие уговоры, крепко хватил кулаком и меня, и Николая... Но мы его тоже изрядно поколотили тогда... Сейчас даже вспоминать противно и стыдно. Не знаю, к чему вспомнилась сейчас мне эта драка? Восемь лет прошло с тех пор, а перепуганная девушка и смелое, волевое лицо моряка все ещё стоят перед глазами. Стыдно, мерзко за тот поступок. До сих пор казню себя. Ну, ладно, если бы такое только один раз случилось в жизни, а то ведь сколько раз! А почему, думаете, я таким вырос? Да потому, что мне и самому частенько доставалось в детстве. Вот, когда подрос, набрал силенок, познакомился с «королями» улицы и решил бить каждого по любому поводу, а то просто и без повода. Когда я бил, я, как ни странно, находил какое-то удовольствие в этом, а потом сгорал от стыда, уходил от приятелей и даже плакал. После, уже работая на шахте, я как-то попал на танцплощадку. И ни с того ни с сего нахамил одной девушке. Пригласил ее на танец, а она мне:

«Вы — пьяны и мне неприятны...»

И тут я дал волю своему языку...

— Ну и что, срок получили?— спросил я уже с неприязнью своего пассажира. Теперь, я жалел, что посадил его.

— Нет. А жаль. Может быть, я тогда скорее бы за ум взялся...— прикуривая потухшую папиросу, в сердцах ответил парень.— А все почему? Пил, да и дружки были одни собутыльники.

— Что это вы все мне как на исповеди рассказываете?

Пассажир виновато улыбнулся и по-детски смущенно сказал:

— Я из этих мест... Рос здесь... Много вспомнилось... В Чебоксарах уже не был лет пятнадцать. В тринадцать лет уехал отсюда. Перед отъездом обманул одного человека... Может, в первый раз я так обманул... Вообще, не помню, чтобы до этого обманывал кого-нибудь... Вот вернулся в Чебоксары и сразу вспомнил этого человека. А я ведь обязан ему своим благополучием...

Я подумал, что он снова начнет рассказывать, как когда-то в Чебоксарах обманул человека, но парень вдруг восхищенно сказал:

— Смотри-ка, а дорога-то до Канаша, оказывается, вся заасфальтирована!

— Да, дорога тут отменная, — ответил я. — Ее каждый год обновляют, смотрят, как и за железной.

— Сколько тысяч машин, поди, за день тут проезжает! А раньше, бывало, проедут по ухабам одна-две — и все...

Так, за разговором, мы и не заметили, как въехали в Канаш.

К дому Виноградовых мы подъехали в третьем часу. Я хотел сразу развернуться, но мой пассажир попросил подождать — мало ли что, вдруг дома никого и придется возвращаться. На наш звонок открыл сын Виноградова, рыжеволосый мальчишка.

— Родители дома? — спросил я.

— Мама с папой только что ушли, — как-то вяло ответил подросток и добавил: — В кино, на четырехчасовой сеанс.

Я вопросительно посмотрел на своего неудачливого пассажира.

— Я с вами вернусь в Чебоксары, — подумав, сказал он. Потом повернулся к парню: — Тебя как зовут?

— Слава, — ответил тот и исподлобья, вопросительно посмотрел на моего пассажира.

— Давайте вот что сделаем, — предложил мой пассажир, обращаясь ко мне и к Славе. — Сейчас мы все трое сядем и поедem в магазин детских товаров. Надо там купить кое-что...

— А я-то зачем? — удивился Слава.

— Там увидишь! — обрадованный своим решением, сказал мой пассажир. — Поехали! Нас же ждет машина!

Слава, не зная, что делать, недоуменно смотрел на меня. А я и сам еще не догадывался, что задумал этот странный парень, но все же сказал ему:

— Ну что ж, Славик, поехали.

Слава накинул куртку, взял с полки ключи и вышел за нами.

В магазине мой пассажир долго искал нужные ему вещи. Потом он остановил свой выбор на довольно симпатичном костюме для мальчика, демисезонном пальто,

рубашке и ботинках. Хитро посмотрев на Славу, он весело приказал:

— Ну-ка, примеряй!

— Зачем? Мне ничего этого не надо,— отнекивался мальчишка. Я тоже смотрел недоуменно на чудачества этого странного человека.

— Меряй, меряй! Не стесняйся!— настаивал парень.

Слава, наконец поборов робость и не совсем все понимая, начал мерить все вещи подряд. Костюм и ботинки оказались впору. А пальто было чуть длинновато.

— Ничего. Мама укоротит,— заметил парень и оплатил все покупки. Потом достал блокнот и что-то долго писал, который вручил Славе вместе с покупкой.

— Передай это, Слава, отцу. В записке сказано все, он поймет.— А сам сел в машину и бросил мне коротко:— В Чебоксары!

Мы тронулись, а сын Виноградова остался стоять у магазина, растерянно переминаясь с ноги на ногу. Въезжая в переулок, я оглянулся и увидел, как Слава с большим свертком зашагал к дому.

— Ну, одним грехом меньше,— сказал мой пассажир, когда мы выехали на большак, и облегченно вздохнул.— Мой самый первый грех... Жаль, не удалось встретиться с Виноградовым самим. Видно, он очень хороший человек. А вы, кажется, ничего не поняли? Нет, я не граф Монте-Кристо. Просто бывают долги, которые необходимо возвращать...

— Конечно, конечно,— понимающе согласился я.— Но лучше расскажите мне все по порядку.

— Я уже говорил, что пятнадцать лет назад, в Чебоксарах по-крупному обманул одного человека. Это был Виноградов. В год окончания войны, когда отец вернулся с фронта, умерла моя мать. На руках у отца нас осталось четверо. И тогда он женился... Про мачеху в народе говорят разное, но наша, пожалуй, была злее всех. Чего только она не вытворяла: и голодными нас держала, и била, и давала самую тяжелую работу, и без причины жаловалась на нас отцу... Да разве можно все вспомнить! Сначала отец защищал нас, а потом во всем пошел ей навстречу. Не зря же говорят, что ночная кукушка дневную перекукует... Протерпел я два года такие издевательства и сбежал. Пятый класс тогда кончал. С неделю проболтался в Чебоксарах, ночевал где попало.

А потом решил удрать в другой город. В кармане у меня — ни копейки, да и одежонка до того ветхая, что ветер входил в одну дыру и свободно выходил в другую. Как и сейчас, тогда стоял отличный август. Хорошо запомнил я этот месяц. Так вот однажды ночью в Чебоксарах на улице Нагорной сгорел двухэтажный деревянный дом. Восемь семей в нем жило. И родилась у меня в эту ночь идея. Мал был, но уже думал, как бы выйти из моего отчаянного положения, как говорят, голь на выдумки хитра.

Мой пассажир грустно улыбнулся. Видно, те не легкие годы крепко запали ему в душу. Чуть прикрыв веками коричневые глаза, он снова заговорил:

— К утру где-то, уже не помню где, я отыскал большую корзину и пошел по домам попрошайничать. Постучусь в дверь, захожу и жалобным плачущим голосом говорю: «Не поможете ли погорельцам?» «Ах, и вправду, они ничего не успели вытащить!» — причитали женщины и жалели меня, а иные за стол сажали, правда, были и такие, которые не хотели разговаривать, просто выставляли за дверь. Но я-то пошел не куски хлеба собирать, мне нужны были деньги на билет... Ну и набрал я так рублей двадцать и полную корзину всякой еды. А потом мне так стало стыдно! Думаю, бросать надо это дело. Вот зайду в этот дом — и все, больше никуда не пойду, решил я, подходя к дому, в котором вы теперь живете. За столом сидел и что-то писал рыжеволосый мужчина. Я сделал плаксивое лицо и сказал ему: «Я сын погорельца, а мать послала меня по домам собрать хоть сколько-нибудь денег».

— Да, я был там вчера... Никто ничего не успел вытащить, к сожалению, — сказал рыжий человек и сочувственно взглянул на меня. Потом он подошел к шкафу и вытащил из него детский костюм, почти новое демисезонное пальто и подал их мне. Немного погодя, достал из комода синюю рубашку и тоже сунул мне.

— Мама наказывала мне просить денег... а это, я, наверное, не возьму, — сказал я, смутившись.

— Денег, говоришь? — переспросил он, внимательно разглядывая меня сверху.

Я ничего не смог ответить. Только подумал, что лучше бы бросить все эти вещи и поскорее покинуть этот дом. Но хозяин быстро выдвинул ящик стола, взял оттуда сто рублей и протянул их мне.

— Бери, бери, не стесняйся. Я сам знаю, что такое пожар,— сказал он.

У меня аж слезы выступили на глазах. Я чистосердечно захотел признаться, что я не из погорельцев. Однако не смог, не хватило сил. Такой душевной доброты мое детское сердце давно не знало. Хозяин проводил меня прямо на улицу. Там я ему предложил неожиданно: «У вас сада нет, может, возьмете яблочко?» Рыжий человек, все так же улыбаясь ласково, выбрал два самых маленьких яблока, которые я за утро успел собрать, и сказал мне «спасибо».

И после этого я отрезал, бросил попрошайничать. На другой день — прощай, Чебоксары! А потом завертелось, пошло... На Урале попал в детдом, сбежал оттуда, попал в другой... После учился в вечерней школе и работал на шахте, закончил институт и снова вернулся на шахту... Ну вот, незаметно, а всю свою жизнь вам рассказал... Записку написал Виноградову, но в ней не сказал, что обманул его тогда. Не могу — и все тебе тут. Только и написал: «Вспомните, как в 1947 году к вам приходил мальчишка-«погорелец». Увидел бы самого Виноградова, может быть, и признался бы, а на бумаге почему-то не смог. Вы сказали, что его сын после университета работает где-то на Севере. Вот его одежду он и отдал мне тогда... А какая у него жена? Ведь некоторые за такие поступки мужа съедят! Да и жизнь тогда ой какая нелегкая была! А знаете, что еще меня постоянно мучает? Мне кажется, что Виноградов тогда догадался, что я не из погорельцев.

— Теперь это уже неважно,— успокоил я рассказчика.

— Конечно,— согласился он.— А мир не без добрых людей.

В Чебоксарах я довез парня до площади Советов, теперь площадь Ленина. Прощаясь, я не выдержал и спросил его:

— Послушайте, а вам не кажется все это... ну, такое «отпущение своих грехов» какой-то слабостью?

— Может быть... Может, и слабость... Наверное, вы хотите сказать: лучше забыть все плохое прошлое и не терзать себя им постоянно, а просто жить честно? Не знаю... Но одно знаю: забывать доброту людей ни в коем случае нельзя. А вот жить и работать честно — обязательно надо. Человеческая доброта, она как цеп-

ная реакция. Без доброты я не мыслю себе жизни. Ведь в итоге на земле все делается ради добра, чему бы мы ни учили человека, а изначальное все же доброта... Вот вы, не зная, кто я и зачем разыскиваю Виноградова, были же добры ко мне?..

Мы попрощались неожиданно — ко мне подошел новый пассажир и спросил:

— Машина свободна?

— Да, садитесь, — машинально ответил я, совсем забыв, что еще не обедал.

Вот какие случаи бывают с нашим братом-таксистом.

СОДЕРЖАНИЕ

Ружье, найденное в иле	3
Случай в деревне Чиршаксы	20
Отложенный поход	42
Доброжелатели	56
Снег	72
Душа охотника	76
Свадебное платье	81
«Танец маленьких лебедей»	90
Запах горелого	106
Встреча на Волге	121
Память	135
Долг	151

Для старшего школьного возраста

ИГНАТЬЕВ
Василий Герасимович

БЕСПОКОЙНЫЕ

Рассказы

Редактор *З. В. Филиппова*
Художник *А. А. Макаров*
Художественный редактор *А. А. Макаров*
Технический редактор *Р. Я. Семенова*
Корректоры *А. И. Елисина, Л. Ф. Козин*

НТ 04969. Сдано в набор 15.IV-1976 г. Подпи-
сано к печати 30.VII-1976 г. Формат 84×108 1/32.
Бумата типографская № 2. Физ. печ. л. 5,0. Усл.
печ. л. 8,40. Учетно-изд. л. 8,77. Заказ № 1280.
Тираж 50.000 экз. Цена 27 коп.

Чувашское книжное издательство
Чебоксары, пр. Ленина, 4.

Типография № 1 Управления по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
Совета Министров Чувашской АССР
Чебоксары, Канашское шоссе, 13.

Цена 27 коп.